

Еще недавно мне казалось: я не смогу забыть этого никогда. Меня часто расспрашивали о том времени друзья, знакомые, а иногда и малознакомые люди. Я охотно отвечала на эти вопросы, отмечая предположения о болезненности таких воспоминаний. Мне действительно не больно: по какой-то причудливой особенности память особенно ясно сохранила то хорошее, что было и там. Много раз мне советовали записать эти воспоминания, но я считала такие советы преждевременными: смешно заниматься мемуаристикой на третьем десятке. А сейчас я с изумлением замечаю, что за прошедшие 3 года очень многое уже ушло из памяти. Я пытаюсь уловить то, что вчера въяве стояло перед глазами, — но оно ускользает, ускользают имена, лица, события, оставляя лишь эхо — воспоминания о пережитых тогда чувствах. Я решила попробовать записать увиденное мною в том мире. Меня мучает необходимость сделать это сейчас, пока многое помнится еще достаточно ярко.

Писать мне очень сложно. Людям, о которых я собираюсь рассказать, еще далеко до заслуженного отдыха. Многие еще и сейчас работают на тех же местах, где мне с ними довелось встречаться 4-5 лет назад. Но отчасти именно поэтому мне стоит поторопиться. Пожалуй, будет неплохо, если рассказ о преступлениях застанет их на тех же местах, где они продолжают совершать те же самые преступления. Ну, а что касается других, тех, кто как-то умудрились остаться людьми, невзирая на свое служебное положение, то о них, к сожалению, писать еще рано — хотя именно о них хотелось бы рассказать в первую очередь.

Вся эта история началась 20 декабря 1982 года. Меня разбудили в 9 утра долгие, настойчивые звонки в дверь. В самой этой настойчивости было что-то чужое и тревожащее. Я подумала, что это пришли необычно ранние гости к Свете — 18-летней девочке, уже месяц живущей у меня. Видимо, то же подумала и Света и пошла открывать. Через мгновение она распахнула дверь в мою комнату и почему-то очень тихо, словно те, за входной дверью, могли ее услышать, сказала:

— Ира, это КГБ.

— Так и сказали? — изумилась я.

— Так и сказали.

Это и вправду было удивительно. Ко мне уже дважды приходили с обыском и каждый раз на вопрос "Кто там?" неизменно отвечали: "Телеграмма". Впрочем, сколько же можно врать и, главное, для чего это нужно?

Трезвон продолжался, в дверь уже забарабанили. Я спросила Свету:

— У тебя ничего нет?

— Нет.

— У меня тоже ничего особенного. Открывай.

В коридоре мгновенно стало тесно от ворвавшихся в него семерых человек. Это тоже было необычно: пятеро гебистов вместо трех, как всегда, плюс двое понятых. Я села на постели, прикрываясь одеялом. В комнату вошел розовощекий, хорошо упитанный лысый дядечка со скромным бордюрчиком коротких седых кудряшек на затылке. Был он необычайно жизнерадостен и приветлив. Он отрекомендовался подполковником Татоевым, показал удостоверение и попросил встать. Я ответила, что охотно исполню его просьбу, но в настоящий момент это несколько затруднительно, так как в моей спальне находятся шестеро мужчин. Татоев сказал, что сейчас они все выйдут, оставив меня

наедине с женщиной-понятой. Я попросила Свету присмотреть за нашими гостями, чтобы кто-нибудь из них по рассеянности не обронил под шкаф пистолет, гранату или, к примеру, пакетик анаши, ибо примеры такой рассеянности уже бывали.

Татоев предъявил мне постановление прокурора на обыск, и наши незваные гости принялись за работу. Действовали они споро, как всегда, и очень тщательно: проверялся каждый кубический сантиметр пространства квартиры, простукивались стены и мебель. Я считала столь скрупулезный обыск психической атакой, такой же, как пистолет, демонстративно выпирающий из кармана Татоева. Когда он нагнулся, чтобы заглянуть под диван, его широченный зад с резко выступающим пистолетом сбоку уставился прямо на нас. Я шепотом сказала Свете: "Смотри, лицо КГБ".

Мы обе задохнулись от смеха. Татоев поднялся, прекратив свои изыскания под диваном. Он был свеколько-красен — то ли от натури, то ли от того, что услышал мою реплику.

С этого момента на нас со Светой напало какое-то невероятное веселье. Вообще-то говоря, у меня часто бывали такие припадки веселья в самые неподходящие моменты: на допросах и обысках. Но до сих пор в таких ситуациях я была один на один с гебистами, а сейчас рядом была Светлана, готовая в любой момент расхохотаться, как, пожалуй, любая 18-летняя девушка. И мы смеялись, упиваясь своим не-одиночеством, издевались над нашими гостями, я рассказывала Свете какие-то комические полу-враки полу-истории, и мы смеялись до слез, до сухости во рту.

Когда-то ко мне в первый раз пришли с обыском, а меня настолько потрясло это деловое колание трех мужчин в полудетских дневниках, письмах и записных книжках, что я чуть не половину обыска просидела, сжав челюсти и уставившись в одну точку на обоях, чтобы

не закричать дико от ужаса и возмущения. Но с тех пор прошло уже четыре года, я отучилась вести дневники, зато привыкла переписываться через цензуру с Аркашей, моим мужем, арестованным тогда же; 4 года назад. Поэтому теперь меня уже ничуть не шокировало, что чужие мужчины роются в ящике с моими трусами, бюстгалтерами и колготками, что они перетряхивают мою постель и содержимое тазика с грязным бельем. Я вдруг поняла, насколько это смешно, насколько смешны люди, ставящие себя в такое идиотское положение.

Полковник Татоев тоже, кажется, пребывал в веселом расположении духа. Он без умолку болтал, обращаясь то к своим коллегам, то к нам со Светой, шутил и едва ли не мурлыкал что-то себе под нос. Вот уж этого я никак понять не могла. Пришли рано утром в дом к молодой женщине, незваные, непрошенные, роются в чужих вещах, лезут во все пыльные закоулки на антресолях, читают письма, адресованные не им и не ими. И все это с улыбкой, с шутками-прибаутками, как будто и в самом деле исполняют приятную, нужную работу... Один мой знакомый рассказывал, что когда к нему пришли с обыском, то разбудили его трехлетнего сына. Малыш вылез из кроватки, вышел, полусонный, в ночной рубашке в коридор, понаблюдал за работой чекиста, шуровавшего у вешалки, и с любопытством спросил: "Дядя, а что ты ищешь? Ты тут что-нибудь забыл?" Мой знакомый рассказывал, что тогда он единственный раз в жизни видел смущенного сотрудника КГБ.

Радоваться результатам обыска у Татоева, кажется, не было оснований. Никаких важных бумаг у меня дома не было, да и быть не могло. Год назад ГБ арестовало Валерия Репина, ленинградского распорядителя Фонда помощи семьям политзаключенных. Он был моим другом и начальником — я тоже работала в Фонде. Узнав о его аресте, я до 5 утра наводила порядок в своих бумагах и жгла те, которые мне бы не хотелось видеть в чужих руках. На кухне ярко горели

костры на двух противнях, я плакала от дыма и боялась, что вот-вот соседи вызовут пожарную команду. Но в тот раз все обошлось, не приехали ни пожарные, ни эти. Они пришли лишь три месяца спустя, зачем — непонятно; впрочем, и обыскивали халтурно, явно не рассчитывая ни на что.

И вот сейчас, всего через 9 месяцев — снова. Я понимала, что этот обыск как-то связан с делом Решина, с тем, что Валерий дает подробные показания, и в Управлении КГБ оказалось огромное количество документов, которым там было совсем не место.

Впрочем, я сейчас посчитала за лучшее поменьше думать обо всем этом, понимая, что до начала допроса мне все равно не удастся узнать, в чем дело.

Первая встряска произошла, когда Татоев отложил в сторону весь запас моей копировальной бумаги. Я печатала, как раз накануне мне принесли диссертацию. Работа была срочной; достать копиру в магазине очень сложно. Все это я принялась объяснять Татоеву, но он лишь пожимал плечами и отшучивался, а через несколько минут заявил, что пишущую машинку они у меня тоже вынуждены забрать.

Это был уже настоящий шок. Это означало, что мне теперь придется неизвестно как объясняться с заказчиками, возвращать начатую работу, подводить моего хорошего знакомого, весьма почтенного и уважаемого человека, который свел меня с ними. Но самое главное — как я буду жить дальше, на что жить? Я стала убеждать Татоева, что машинка служит мне только для перепечатки диссертаций, я никогда не напечатала на ней ни одной криминальной бумажки, и поэтому им все равно придется ее вернуть. Это было наивно, я и сама понимала, но остановиться смогла лишь после окончательного резкого "нет!" Татоева.

... Сейчас трудно сказать, в какой из моментов я поняла, что

это не просто обыск, а арест. Может быть, тогда, когда в разговоре со Светой случайно обмолвилась: "... когда меня посадят". Или когда заметила, что чекисты ни на секунду не оставляют меня одну даже в уже обысканной комнате. Или тогда, когда они начали откладывать в кучу для изъятия бумаги, уже пережившие два обыска, — например, ксерокопии Булгакова и Сименона. Но понимание это было удивительно четким, и не менее удивительным было то, что я в тот момент уже точно знала свой грядущий срок. Я сказала об этом Свете; она засмеялась и сказала, что меня вообще никуда не поведут после обыска. Такое предположение меня даже как будто обидело, я довольно сердито сказала Свете, что мы находимся не в детском садике и я не нуждаюсь в глупых утешениях. Света предложила пари: если после обыска меня уведут в Большой дом, то она купит мне бутылку шампанского, если нет, — то я ей. Мы взялись за руки (о, как необходимо мне было сейчас это пожатие!), и Света попросила чекиста, стоявшего рядом, разбить наши руки. Я торопливо отказалась от этой услуги и спросила Свету, сколько шампанского она собирается купить мне, когда я вернусь в Ленинград через 3 года. Она сказала, что это такая глупость, о которой и говорить не стоит.

Странное состояние было у меня в те часы. С каждым мгновением я чувствовала себя все более чужой в этом мире, в маленьком уютном мире моей квартиры, разрушенном внезапным вторжением. Почти физически я чувствовала, как рвутся связи со всем, окружающим меня; это было болезненно, но не настолько, как я ожидала. Может быть, что-то подобное испытывает космонавт на взлете: перегрузки ломают тело, впереди — черная пустота, бездонность, а Земля, милая, привычная, — еще здесь, совсем рядом;! но вернуться уже нельзя, тело заключено в железный цилиндр корабля, и корабль с ревом уходит вдаль от Земли.

Я и в самом деле чувствовала себя как будто взлетающей над всем, что оставалось здесь. Все уходило, улетало куда-то вниз, все проблемы, обещания, вся эта суета сует. Полночи я не спала, мучаясь воспоминаниями о вчерашней нелепой ссоре с самыми близкими моими друзьями. А теперь все уладилось, они мне простят. И другие люди меня теперь простят, все, кто имел на меня какую-нибудь обиду.

Сейчас мне и самой не очень легко поверить в такое, но я точно помню все чувства, пережитые в тот день. И я помню, что когда я окончательно убедилась в неизбежности ареста, мне вновь стало необыкновенно весело. Я почувствовала себя изрядно проголодавшейся и с аппетитом позавтракала в полном одиночестве — Света от завтрака отказалась. Потом вспомнила, что в холодильнике стоит бутылка шампанского, припасенная для встречи Нового года, и предложила Свете распить эту бутылку — за мое прощание со свободой. Света согласилась. Я спросила на всякий случай Татоева, имею ли я право выпить сейчас шампанского или я считаюсь уже поступившей в ведение КГБ и подобные вольные утехы мне уже запрещены. Татоев отвечал, что я имею право в своем доме пить все, что захочу, только в протоколе допроса будет указано, что привезли меня в УКГБ в нетрезвом состоянии. Я представила себе записочку где-нибудь в "Вечерке" и быстро отказалась от своей идеи, завещав Свете хранить эту бутылку для встречи 1986 года.

Потом я попросила Свету спеть, и она, не заставляя себя уговаривать, как это часто бывало, сняла со сцены уже обысканную гитару и запела. Я потихонечку начала подпевать, мы пели все согласнее и громче. Этот концерт продолжался, пожалуй, не меньше двух часов, мы спели все песни Галича и Окуджавы, которые знали, и еще какие-то туристские песни, и еще какую-то веселую антисоветчину.

А обыск шел своим ходом, книги, тряпки, посуда громоздились

кучами на полу и торопливо, кое-как впахивались на места обратно.

За задернутыми шторами уже сгущались серые декабрьские сумерки. Все начали уставать. Движения чекистов стали заметно менее проворными; Света опустила гитару на диван и потирала онемевшие кончики пальцев. Понятые, кажется, изнемогали от скуки, и оба заметно ожились, когда началось составление протокола. Кучка документов для изъятия оказалась очень скромной: помимо ксерокопий "Мастера и Маргариты" туда попали лишь сборник стихов Ахматовой, не публиковавшихся в СССР, несколько бумажек со стихами других авторов и маленькая книжка с сокращенными записями шестисот антисоветских анекдотов.

Я начала собирать книги, принадлежащие моим знакомым, и вкладывать в них записочки с адресами владельцев. Света согласилась их взять, но не преминула заметить, что завтра я, вне всяких сомнений, буду долго смеяться, забирая их у нее обратно.

Когда процедура "составления завещания" была закончена, оформление протокола обыска также близилась к концу, и я спросила Татоева, забирают ли они меня. Он коротко и честно ответил, что да. Я почувствовала признательность за эту честность — всех моих друзей арестовывали под нелепую приговорку: "Это всего лишь формальность", "на минутку", "вы только проводите нас до машины". Татоев сказал, что забирают все мои документы — паспорт, свидетельство о браке, старый студенческий билет, и посоветовал мне взять с собой немного денег на первое время. Я положила в кошелек 20 рублей — все, что было в доме, и стала собирать вещи — белье, свитера, мыло, зубную щетку. Я старалась двигаться как можно медленнее, чтобы скрыть дрожь ледяных влажных рук и не выглядеть суетливой. Именно в этот момент, когда я старательно упаковывала одежду в большой полиэтиленовый мешок, меня как обухом по затылку грохнул кошмар всего происходящего.

Это ведь все окончательно всерьез. Сейчас я уйду навсегда из этой квартиры, где жила вся моя семья, где я родилась. Больше не будет телефонного звонка, разговоров с друзьями, прогулок по набережным и всего другого, что составляло мою жизнь. Все это будет когда-то, очень не скоро, вновь, но нельзя войти дважды в одну реку — это буду уже не я, а какая-то совсем другая женщина, не знакомая мне теперьшней.

Совершается преступление. Эти люди крадут меня, как гангстеры. Но обыкновенные гангстеры усыпляют своих жертв или затыкают им рот, а те кричат, сопротивляются. У нас же все происходит чинно, деликатно, благородно. "Вы позволите пройти?" — "О, извините, пожалуйста, я вам помешал". Вот и говорите, что мы отстаем в культуре от Запада. Мне бы броситься на кого-нибудь из них и успеть вленичь хоть затрещину, пока наденут наручники. Вот и щека одного из них так соблазнительно близка, розовая, унитанная, гладко выбритая: звук получился бы хороший. А потом, когда будут выволакивать из квартиры и тащить вниз, орать благим матом, чтобы в соседних домах было слышно...

Но я уже точно знаю, что не буду кричать и сопротивляться, а спокойно сойду с ними в машину. Между нами уже установлен негласный договор. Наверное, срабатывает стереотип, еще тот, старей, с 30-х годов. Мы все как будто признали естественность происходящего: и они, с ужасающей деловитостью завершающие последние формальности, и я...

Странно относились они ко мне в эти последние минуты пребывания в моем доме. Так общаются настоящие врачи с больным, ожидающим тяжелую, болезненную операцию: серьезно, доброжелательно, с вышним вниманием и уважением.

Я была уже одета, вещи собраны. К цепочке, на которой был кре-

стик, я прикрепила еще маленькую иконку с изображением Спасителя в Гефсиманском саду. Я знала, что все это в тюрьме с меня снимут, но хотела, чтобы они были со мной до последней минуты.

Над кроватью у меня висели две иконы. Мне хотелось перед уходом помолиться, но я стеснялась делать это при чекистах. Поэтому я лишь на минуту помедлила перед иконами, произнесла про себя молитву и незаметно перекрестилась.

Мы все вышли на лестницу, один из чекистов запер дверь на два замка — я всегда пользовалась только одним — и повесил на ручку печать, деревянную дощечку с зеленой пластилиновой пломбой.

Внизу нас ждали две "волги". На одной уехали понятне; Света проводила меня до дверей другой. Я попросила Свету как-нибудь поосторожнее сообщить Аркаше о моем аресте: трудно было представить, что он может сделать, получив такое известие в Чистопольской тюрьме. Мы простились, я подняла сжатый кулак, Света в ответ сделала "носик". Это было необыкновенно смешно, мы обе рассмеялись, и так, со смехом, я и стала вживаться на заднее сиденье "Волги". Сделать это было не совсем просто, так как кроме рубенсовского телосложения я обладала еще и объемистой сумкой, которая едва не лопалась от набитых вещей. Сидевший рядом чекист удивленно спросил меня, не на 10 ли лет я к ним собираюсь. Я ответила, что нет, всего лишь на 3 года, но я люблю везде устраиваться с комфортом. Наконец, мы все же ~~хрюкнув~~ втиснулись втроем на заднем сиденье. Света в последний раз нагнулась к окошку, улыбнулась и помахала мне рукой, и машина рванула с места, с шумом расхлостывая в стороны целые борозды грязного, тающего при нулевой температуре снега.

И вновь мне стало легче, словно резкий рывок "Волги" выдернул больной зуб.

По дороге я думала о том, как хорошо, что я так и не рискнула

завести ни кошку, ни собаку, ни даже домашние цветы, и еще хорошо, что я живу (теперь уже "жила") около пр. Римского-Корсакова. Дорога оттуда к Большому Дому идет мимо Медного Всадника, Эрмитажа, Петропавловки, Летнего сада — вдоль всей невской набережной. Насколько хуже было бы ехать в Большой дом откуда-нибудь со Ржевки или Охты — одни заводы и трубы по пути.

Почему-то я считала, что раз я теперь арестована, то меня должны завести в какой-нибудь внутренний тюремный двор. Но машина остановилась у хорошо знакомого 6-го подъезда, куда я много раз ходила на допросы. Все было то же самое — 2-й этаж, следственный отдел. Но тут произошло нечто необычное: впереди, в двух десятках метров я увидела моего знакомого, В.С., он шел рядом с чекистом и вот-вот должен был скрыться за углом. Моя свита из трех человек чуть отстала. Я ускорила шаг и завопила изо всех сил: "Володя, я арестована!" Окончание моего крика и володин ответ: "Понял", — потонули в громкоподобном крике Татоева: "Урр-р-а-а!" Со всем этим шумом мы и влетели в кабинет следователя. Татоев энергично подникнул меня. Следователь сам вышел нам навстречу, крайне изумленный таким в буквальном смысле вопиющим нарушением порядка в его почтенном учреждении. На его вопрос о том, что значат эти скандальные выкрики, я быстро ответила, что я просто сообщила своему знакомому, встретившемуся в коридоре, о своем аресте. А вот почему кричит "ура" полковник Татоев, мне неизвестно. Надо полагать, он просто не в силах сдержать радости по поводу моего ареста.

Как-то вдруг до меня дошло, что если сейчас мне удастся поймать нужный тон в разговоре с ним, то дальше все будет намного проще. Думаю, что эта первая фраза в разговоре со следователем немало помогла мне в будущем.

Следователь предложил мне сесть, представился В.А. Качкиным,

познакомил меня еще с одним человеком, присутствовавшим в кабинете, — прокурором Большаковым. Внешность этот прокурор имел весьма примечательную. Длинный нос его стремился вперед и вниз, а затылок — столь же целеустремленно — назад и вверх, отчего голова его удивительно напоминала розовое пасхальное яйцо. Растительности на голове было совсем немного, так что череп его, к которому словно приложили руку компрачикосы, поражал своими пропорциями с первого взгляда. При этом выражение лица у него было необычайно серьезное и благочестивое, глаза постоянно были опущены, а пальцы переплетены, словно прокурор непрерывно находился в молитвенном сосредоточении.

Прежде всего Качкин спросил, почему я считаю, что меня арестовали. Я слегка обиделась, подумав, что сейчас опять, как в прежние времена, начнутся дурацкие игрушки "будете давать показания — не будете", "выпустим — не выпустим". Но, к счастью, ничего этого не было; Качкин, слегка понизив голос (очевидно, для некоторой торжественности) сообщил, что против меня возбуждено уголовное дело по ст. 190-1, и предъявил мне постановление. Я расписалась в том, что ознакомлена с ним, и с некоторым разочарованием (все же надежда у меня была) спросила, почему меня обвиняют по 190-1, а не по 70-й статье. Качкин объяснил, что в моих действиях не было умысла на подрыв и ослабление советской власти. Мы немного поспорили о том, правомочен ли Качкин решать, был или не был такой умысел, не спросив меня.

Меньше всего меня тогда волновал вопрос, в чем конкретно меня обвиняют. Три года — срок небольшой, на него можно насобирать с бо-ру по сосенке всякой ерунды, и при порядочном поведении подсудимого будет в самый раз.

Казалось, я была готова услышать любые глупости в обвинении. Но то, что услышала, все-таки поразило меня. Я обвинялась в изготов-

лении двух рукописных тетрадей со 120 антисоветскими анекдотами, в устном распространении тех же анекдотов и в передаче на "Свободу" и "Немецкую волну" текстов двух передач: о моем муже и одном нашем знакомом. Последнее обвинение несколько приободрило меня: я уже подумала, что лет через 8-10 мне будет смешно признаваться незнакомым людям, за что я сидела. Я спросила Качкина, не отстали ли его часы на сорок лет, шутит он или всерьез считает, что в 80-х годах XX века даже в такой стране, как наша, можно посадить человека за анекдоты. Он высказал какую-то несусветную чушь насчет защиты интересов государства. Тут до меня вдруг дошло, что часы Качкина, пожалуй, тикают ровно в такт времени, просто, но всей видимости, вернулось время - на 40 лет назад.

Брежнев умер 10 дней назад, и на следующий день после его смерти у моего дома появился милиционер, демонстративно и неотрывно наблюдающий за дверью. За всеми моими гостями с того же дня началась плотная слежка. Меня вполне можно заподозрить в мании величия, если я предположу, что в день кремлевских пертурбаций и восхождения на престол Андропов занимался еще и распределением всей всесоюзной армии топтунов по местам, но факт остается фактом. До 11-го ноября мента не было, 11-го он появился и не исчезал уже до самого моего ареста.

Я спросила Качкина, собирается ли он инкриминировать мне работу в Фонде. Доказательства этой деятельности - написанные мной ежеквартальные денежные отчеты, которые я отдавала Релицу, - сейчас были в КГБ, и мне хотелось, чтобы меня судили за работу в благотворительной организации. Но Качкин сказал, что это в обвинение они не включают, и спросил, признаю ли я себя виновной. Я ответила, что нет, и собиралась уже заявить отказ от дачи показаний, но показаний этих пока от меня никто не просил.

Качкин предложил мне чай (я отказалась) и, деликатно улыбувшись, сказал: "Вам придется остаться у нас". Сказано это было таким тоном, каким хозяин, задержавший гостя ночным разговором, сообщает, что мосты на Неве разведены и тому уже никак не добраться домой. Большаков передал какую-то бумагу ему, он - мне, и я засвидетельствовала своей подписью, что мне было предъявлено постановление о взятии под стражу. Прокурор также подписывал какие-то документы, устремив в них свой сосредоточенный, благочестивый взор. Качкин суетился между нами с необычайно хлопотливым и серьезным видом, отчего вся процедура сильно смахивала на дипломатический протокол подписания высоких соглашений.

Я вновь почувствовала признательность к чекистам за то, что они объявили мне об аресте прямо сейчас, до начала допроса, не ставя сам факт ареста в зависимость от моего поведения. Значит, они меня все-таки в достаточной степени уважают. Значит, мне будет с ними легче.

Сейчас самым важным для меня было попытаться выяснить масштабы погрома. Как правило, КГБ действовало "массированными артиллетами": одновременно проводились обыски у нескольких человек; десятки человек в тот же день задерживались дома, на улице, на работе и увозились на допросы. Разумеется, у меня не было особой надежды узнать больше, чем Качкин посчитает нужным сообщить, но все же я спросила его, сколько следователей будет в бригаде, ведущей мое дело. Результат превзошел все мои ожидания. Качкин усмехнулся и иронически протянул: "В брига-а-де?! Что вы, Ирина Залмановна, какая бригада! Я один буду вести ваше дело". Это значит, что им нужно просто-напросто засадить меня под любым предлогом и раздувать мое дело они не будут. Разумеется, встреча с Сытинским могла означать, что сегодня они начали дело еще и против кого-нибудь другого (как

оно впоследствии и оказалось), но в отношении моего дела я уже могла немного успокоиться.

Качкин задал мне первый вопрос — кажется, он касался изъятых у меня при обыске бумаг. Несколько волнуясь — наступил ответственный момент — я заявила, что отказываюсь отвечать как на этот, так и на другие вопросы следствия, по морально-этическим соображениям. Качкин оторвался от пишущей машинки, с удовлетворением откинулся на спинку стула и сказал:

— Разумеется, я не ожидал от вас ничего другого. Вы ехали сюда с намерением придерживаться вашей излюбленной тактики. Но неужели вы всерьез полагаете, что вас это удастся на протяжении всего следствия?

— Если мне это удавалось до сих пор, когда я проходила свидетелем, то почему же я непременно должна изменить свое поведение теперь? Какие особые причины есть у меня для этого?

— Просто у вас нет другого выхода.

В беседу вступил Большаков. Речь его была обкатанна, медлительна и монотонна, как журчание тоненькой струйки из крана в тишине ночной квартиры. Я не помню сейчас ни единой его фразы, ни одного аргумента; точно так же я не могла вспомнить их и спустя полчаса после допроса. Помню только, что именно во время его спича я почувствовала себя окончательно разболевшейся. Еще во время обыска у меня запершило в горле и начался озноб. Сейчас глотать стало уже совсем трудно, под веками словно был насыпан тонко размолотый песок, и озноб усилился настолько, что мне стоило изрядных усилий сдерживать дрожь во всем теле: я боялась, что она будет неправильно истолкована. Кроме всего этого, мне ужасно хотелось курить. Три дня назад мы со Светой начали очередную антитабачную кампанию, поэтому на момент прихода катэбистов в доме оказалась всего-навсего одна сигаре-

та, случайно завалившаяся за подкладку сумки и обнаруженная во время обыска, к нашей великой радости.

Сейчас я с большим трудом решала дилемму: морально или не морально попросить у Качкина сигарет. Сам он не курил, но, разумеется, достать сигарет для него не было проблемой. Все же в конце концов я решила, что начинать свои отношения со следователем с попросишайничества не стоит, и стала надеяться, что мне попадет курящая соседка по камере.

Когда разговор продолжил Качкин, обстановка несколько оживилась. Он стал листать мою записную книжку, где антисоветские анекдоты были записаны двумя-тремя словами, и спрашивать, какая запись обозначает какой анекдот. Я охотно начала рассказывать их: этим я готова была заниматься в любое время и в любом месте.

Время от времени в кабинет заходили другие следователи, поздравляли Качкина с каким-то праздничком, с любопытством осматривали меня и спрашивали, не решила ли я еще начать давать показания. Я отвечала, что нет и не собираюсь, но зато я не отказываюсь рассказывать антисоветские анекдоты, и кто желает, может их послушать.

Вдруг в какой-то момент, когда никаких гостей не было и мы с Качкиным мирно о чем-то беседовали, дверь распахнулась с грохотом, словно от крепкого пинка, и в кабинет влетел новый визитер. От всех предыдущих он отличался, во-первых, явно пенсионным возрастом, во-вторых, одеждой — на нем был серый свитер вместо традиционного костюма с галстуком, и, в-третьих, крайней степенью гнева и раздражения. Качкин при его стремительном появлении вскочил из-за стола и одернул пиджак. Гость скользнул по мне гневным и в то же время брезгливым взором, словно перед ним не сидела 23-летняя девушка вполне нормальной наружности, а лежал изуродованный труп знаменитого гангстера, и затем, обращаясь в пространство кабинета:

- Ну что, она все молчит?! Ну и черт с ней, потом заговорит, да поздно будет! А ты что с ней нянчишься, какого черта! Оформляй документы на арест, пускай сидит в тюрьме!

Прокричав это, он все с тем же грохотом вылетел из кабинета, хлопнув дверью. Я сидела, вцепившись в стул, и чувствовала, как кровь мучительно приливает к лицу: ничего подобного мне здесь видеть не приходилось. Качкин был явно смущен.

- Кто это такой был?

- Это наш сотрудник.

- Я уже догадалась, что не допрашиваемый из соседнего кабинета. Почему он так грубил?

- Вы должны его извинить, Ирина Залмановна. Он пожилой и нервный человек.

- Я готова извинить эту выходку: может быть, вы думали, что я посчитаю такое обращение нормальным. Но если вы (энергичное протестующее махание руками) или кто другой попробует еще раз так со мной разговаривать, то я вообще не произнесу ни слова до самого конца следствия. Заявляю вам это официально, при прокуроре.

- Да-да, конечно, этого больше не будет.

Потом Качкин задавал мне вопросы о людях, имена которых были записаны в моей адресной книжке, я давала стереотипный ответ-отказ, а Качкин каждый раз заносил его в протокол. Температура у меня явно поднималась, я чувствовала себя все хуже и хуже, хотя, как ни странно, ничуть не утратила энергии и, кажется, была готова вот так беседовать с Качкиным и Большаковым хоть всю ночь.

Качкин сказал, что сейчас они с Большаковым выйдут из кабинета, а женщина-сотрудница с двумя понятными обшугут меня. Я вся содрогнулась, настолько омерзительным и нелепым мне показалось раздеваться в этом холодном официальном кабинете, и сказала Качкину, что я

сильно простужена, у меня температура, а в кабинете у него несколько холодно. Разумеется, это не подействовало, и через минуту я уже раздевалась под равнодушными и холодными, как этот кабинет, взглядами трех женщин в штатском. Впрочем, догола они меня не раздели, а разрешили остаться в комбинации и колготках. Одна из женщин быстро ошупала меня и осмотрела мою одежду. Пока я одевалась, женщины перекидывались между собой короткими бессодержательными фразами; их глаза скользили по мне, как по пустому месту, словно я была покойницей или бесплотным духом. Это меня поразило: до какой же степени они не признают во мне человека! Одна из женщин, взглянув в черное зарешеченное окно, сказала:

— Сегодня двадцатое. Самая темная неделя начинается.

— Да, самая темная, — слегка зевнув, согласилась другая.

Вернулись Качкин с Большаковым; женщины ушли, а Качкин стал составлять протокол моего досмотра. Когда они с прокурором подписали его и дали для подписи мне, я обнаружила, что в протоколе написано, будто досмотр проводил сам Качкин в присутствии женщин-понятых. Я сказала ему об этом, он перечитал протокол, сказал: "Вот ведь до чего вы мне голову заморочили разговором", — и стал перепечатывать.

В восьмом часу Качкин сказал: "Пожалуй, нам пора заканчивать. Вы ведь очень устали".

Я энергично возразила:

— Нет, несколько. Я вполне могу продолжать.

— Да, вы держитесь очень хорошо (как обрадовал меня этот комплимент от него!), но все-таки у вас сегодня был утомительный день. Сейчас вы пойдете в камеру, отдохнете там, постарайтесь поспать. Завтра мы продолжим.

Отправляться в камеру мне страшно не хотелось. Здесь все было

таким привычным... Я спросила Качкина, остается ли еще в силе его предложение чаепития. Он согрел воду маленьким кипятильником, налил два стакана чая (Большаков от чая отказался) и стал печатать протокол допроса, прихлебывая из стакана. Я достала из сумки огромную семисотграммовую плитку шоколада, предложила своему сотрапезнику — он отказался. Несколько плит такого шоколада год назад принес мне Вадим Розенберг — кадровый стукач ОБХСС, МВД и КГБ, посадивший не один десяток человек (впрочем, все это выяснится окончательно через несколько месяцев). Шоколад этот был "фондовским", т.е. расходовался только на посылки осужденным, нелегальные передачи на зоны и для поездок на свидания. Когда меня забирали, я посчитала, что теперь я и сама имею право пользоваться "фондовским", и прихватила с собой две плитки — все, что осталось. И вот сейчас я с наслаждением ела этот великолепный горький таллинской шоколад с орехами и закивала его обжигающим чаем.

Но всему хорошему в мире приходит конец. Пришел он и этому стакану чая. Качкин допечатал протокол, я расписалась под каждой страницей и со вздохом стала собираться. Уже стоя в дверях, я спросила Качкина:

— Владимир Александрович, а с каким праздником вас поздравляли коллеги? Неужели с успешным окончанием операции по захвату меня?

— Нет, что вы! — засмеялся Качкин. — Просто сегодня наш день — 65-летие образования ВЧК.

За мной пришел конвойный. Мы направились к той самой двери в конце коридора, которой меня пугали многие следователи на протяжении последних четырех лет.

После недолгого хождения по коридорам мы пришли в маленькую комнатку без окон. Там меня ждала довольно милостивая женщина в белом халате. Мягким, доброжелательным тоном она сказала, что сейчас

ей придется меня обыскать. Я вытряхнула на большой стол содержимое своей сумки, и женщина, улыбнувшись, покачала головой:

— Неплохо вы экипировались. Заранее знали об аресте?

— Да, меня любезно предупредили еще при обыске.

— Понятно. Ну что же, давайте посмотрим, что тут у вас.

С необыкновенной быстротой и ловкостью женщина осматривала мои вещи, тщательно прощупывая каждый шов на одежде. Я против воли залюбовалась отлаженностью ее движений. Впрочем, она была настолько не похожа на тех трех брезгливых мумий в кабинете, настолько предупредительна и вежлива, не холодно-официально, а искренне, по-настоящему, что как-то забывался сам гнусный смысл ее работы. Всем своим видом она как будто говорила, что сочувствует мне и желает хоть как-нибудь смягчить удар, переживаемый мной. Не знаю, что в этом поведении было ее лицом, а что — маской, надетой так давно, что она уже приросла к лицу, но первое знакомство с этой женщиной дало мне понять, что и здесь можно встретиться со вполне человеческим отношением.

Когда все вещи на столе были осмотрены, женщина обернулась ко мне и, слегка покраснев, опустила глаза. Меня поразила в ней эта способность краснеть и, чтобы прервать неловкую паузу, я спросила:

— Мне нужно раздеться?

— Да, пожалуйста, — в ее голосе явно была слышна признательность.

Обыск был очень тщательный. Она ощупала мои волосы, заглянула в уши, попросила несколько раз присесть. Все это, как ни странно, было по-прежнему не оскорбительно, может быть, потому, что я знала: ищут не бумаги, а какой-нибудь острый предмет, которым я могла бы воспользоваться, оставшись в камере.

Мне пришлось снять обручальное кольцо, часы и крестик с икон-

кой. Отдав все эти вещи, я вновь ощутила, как рвется еще одна связь с прежним миром. Шоколад также отложили в сторону. Присев к столу, женщина быстро выписала квитанции на все эти вещи и деньги. Взять в камеру сумку, оказывается, по правилам тоже не разрешается. Пришлось всю одежду кое-как завернуть в пальто, а несколько апельсинов положить в шапку.

В таком виде я и продолжила свое путешествие по тюрьме в сопровождении конвойного — с раздутым пальто под мышкой и шапкой, полной ярко-оранжевых апельсинов. Мы долго блуждали по каким-то зарешеченным переходам и коридорам, поднимались по лестнице, каждый пролет которой был затянут сеткой. В тесной сумрачной комнате с крашеными деревянными полками по стенам и барьером у двери мне выдали две алюминиевые миски, кружку и ложку. Пообещали еще завтра выдать чайник. Кое-как я закинула это новое свое имущество все в тот же тюк, и мы потащились дальше. Я чувствовала, что схожу с ума от этого марша. Какие-то миски, кружки, чайники... Зачем мне все это нужно?! Мне нужно просто вернуться домой, сейчас сюда кто-нибудь придет и скажет, что шутка окончена, никакие чайники мне не нужны, и я поеду домой... Но что-то никто не шел.

Наконец мы пришли в длинный, слабо освещенный коридор. Слева шел ряд дверей с номерами. В середине коридора был пост дежурного; там же начиналась лестница, ведущая к ряду камер второго этажа. Мы подошли к 205 камере (она находилась прямо напротив поста), дежурный открыл дверь, и я вошла. "Первая камера — первая любовь"? Но любить здесь было решительно нечего.

Меня поразило, что в камере я была одна: почему-то я считала, что меня сейчас непременно посадят с "наседкой". Впрочем, я была бы сейчас рада любому соседству. Одиночество ужаснуло меня, тяжеленная дверь камеры хлопнула, как крышка гроба, весь мир улетел в

тартарары, в крошечную тьму за густо зарешеченным окном. Так вот как это все выглядит! Черный каменный пол. Маленькое окошко высоко под потолком, с бесчисленным количеством разнокалиберных решеток. Две узкие койки, сваренные из металлических полос, одна из коек привинчена к стене. Странный сводчатый потолок со скупой зарешеченной лампочкой. Раковина — вся черная, с редкими остатками серой эмали. Маленький железный унитаз — тоже черный и тоже какой-то странной формы. И еще — деревянная тумбочка. И это — всё.

Не сомневаясь, что все это — какой-то дурной сон, бред от высокой температуры, я, тем не менее, стала располагаться в своем новом жилище. Аккуратно сложила одежду и положила ее на койку, посуду поставила на тумбочку, апельсины и палку колбасы — внутрь тумбочки. Вот и все дела переделаны. А дальше что? Набросив на плечи пальто, я стала ходить взад-вперед: пять шагов туда, пять — обратно, но быстро устала и, закутавшись в просторное пальто с пушистым воротником, легла на другую койку. Внезапно дверь открылась, и дежурный отдал мне подушку, потертое байковое одеяло и простыни и пообещал принести еще матрас. Я злобно пробурчала в воротник что-то вроде "нужны мне ваши матрасы" и снова отвернулась к стене. Но обещанный матрас все же прибыл через несколько минут, я кое-как устроила постель и быстро нырнула под одеяло, надеясь согреться. Однако в тот же миг открылась "кормушка" и строгий голос уведомил меня о том, что до отбоя под одеялом лежать не разрешается.

— Но я больна, у меня температура! — все с той же злостью воскликнула я, возмущенная столь бредовыми регламентациями.

— Запишитесь к врачу. Если он назначит вам постельный режим, тогда можете лежать.

Я с проклятиями вылезла из-под одеяла и вновь легла, накрывшись пальто. Разницы, впрочем, не было никакой.

Через некоторое время "кормушка" вновь открылась, и невидимый голос произнес:

— Ужин. Давайте миску и кружку.

Я с любопытством заглянула в миску. Это была пшенная каша, самая обычная, без сахара, молока и масла, но все-таки это была каша, а не какие-нибудь помои, которые я ожидала увидеть. Обрадованная этим обстоятельством и полная решимости есть все, что дадут, забыв о вкусовых привязанностях, я принялась за кашу, но смогла протолкнуть в себя лишь пару ложек. Выпив горячую коричневую жидкость

непонятного происхождения, я снова принялась ходить, как маятник, и размышлять о том, что же это я сейчас выпила, был ли этот напиток приготовлен только из пережженной хлебной корки или еще чего-нибудь значительно менее нейтрального. По какой-то причине "раскалываются" ведь здесь люди, от которых никак нельзя было ожидать ничего подобного. Впрочем, размышления эти длились недолго: я решила, что раз Господь дал человеку бессмертную душу, то разве мог Он позволить другому человеку иметь безграничную власть над этой душой? Можно вызвать у человека головную боль (но для этого достаточно просто стукнуть его головой об стену), можно заставить его спать сутками напролет или, наоборот, не спать, можно, наконец, просто убить его. Но нельзя превратить его в послушного исполнителя чужой злой воли, если он по-настоящему сопротивляется этому. Если разломить кувалдой чашку в мелкое крошево, то из кусочков фарфора никакими усилиями не удастся составить новую чашку.

Через некоторое время возникла новая проблема: как сходить в туалет. Следили за мной практически неотрывно: 3-4 секунды в круглом "глазке" виднелся такой же круглый глаз, потом секунд на 5-10 исчезал и появлялся снова. Закрывать чем-нибудь глазок было невозможно, загородиться самой — тем более. Три обмиска явно прибавили моей девичьей стыдливости, но отправлять естественные надобности при мужчинах мне было все-таки несколько непривычно. Я стала наблюдать за глазком, пытаюсь угадать момент, когда после особенно долгого взгляда дежурный должен исчезнуть на более длительное время. Но каждый раз, когда я, выбрав такой момент, бросалась к унитазу, раздавался короткий шаркающий звук открываемого глазка. После двух таких бесплодных попыток я вновь ощутила прилив бешенства. В конце концов, что я топчусь, как идиотка, вокруг этого унитаза?! Пользоваться туалетом — это так же нормально, как есть и пить, а вот подглядывать мужчине за женщиной в такой момент, по меркам цивилизованных людей, — ненормально и неестественно. Пусть эти извращения и стесняются меня, если у них еще есть такая способность.

Прозвенел резкий звонок, означающий отбой, и я, не желая выслушивать новые замечания своего невидимого Вергилия, легла в постель. Ту первую ночь я прожила на грани трех состояний: яви, сна и бреда. Чернота за окном была такая, что не оставляла никакой надежды увидеть когда-нибудь хоть слабый просвет. Я старалась не смо-

треть в ту сторону — меня всегда угнетала темнота за окном, поэтому дома я задвигала плотные шторы, как только наступали сумерки. Невыключаемая лампочка тоже сильно раздражала: ее свет, слишком тусклый для дня, оказался чересчур ярким для ночи. Постель оказалась не слишком удобной: тощий комковатый матрас быстро провалился в крупные дыры между железными полосами койки, и лежать приходилось местами прямо на этих выпирающих железках. Заняться каким-нибудь делом было невозможно, оставалось только ворочаться с бока на бок в тщетных поисках более удобного положения и уже в тысячный раз пытаться обдумать случившееся.

В сущности, ничего ведь сверхъестественного не произошло. Сидит мой муж, сидит или сидела добрая половина моих друзей и знакомых. Да и сама я собиралась сюда на протяжении последних шести лет. Все нормально: где же еще место порядочному человеку в такой стране, как эта. Аркаше остается сидеть еще год, потом два года ссылки. Ничего страшного: он проживет в ссылке один, а потом мы встретимся в Ленинграде. Три года — это ведь совсем немного, из этих камер люди уезжали и на двадцатилетнюю сибирскую каторгу, и на 25 лет в "истребительно-трудовые" Колымы.

Но почему же мне до такой степени плохо? Потому что я так некстати заболела? Или потому, что была избалована с детства и, в отличие от всех своих друзей, питала неистребимую любовь к комфорту и роскоши? Да, наверно, это так. В то время как мои знакомые, покинув дома родителей, ютились в жутких коммуналках, снали на полу и жили хлебом, чаем и сигаретами, сами не зная, на что, я наслаждалась уютом прекрасной трехкомнатной квартиры, платьями, присылаемыми из-за границы, и запеченными в духовке курами. Я любила все эти вещи гораздо сильнее, нежели было позволено человеку моего положения, и эта любовь неминуемо должна была прийти в противоречие с другой, еще более сильной моей страстью: ненавистью к коммунистам. Быть одержимым двумя этими страстями, живя в стране развитого социализма, — это настоящий бич Божий, и я удивляюсь, что он оставил на моей спине не так уж много следов.

Выходов из моего положения было несколько. Первый — облить себя и всех своих знакомых помоями, раскаяться, может быть, сняться в кино, как это, по слухам, собирался сделать Решин, и таким образом освободиться. Об этом выходе можно было думать ровно столько же, сколько о выходе отсюда сквозь дырки решетки. Второй — оставить все как есть. Но послушно сидеть в этом гнусном каменном мешке,

потом жить в лагере с уголовницами, и наконец, вернуться в Ленинград бездомной бродягой — нет, это тоже невозможно!

К утру я дошла до того, что с трудом удерживалась от желания нажать кнопку звонка и попросить дежурного, как Иешуа попросил Понтия Пилата: "Ты бы отпустил меня..." В какой-то из моментов — не помню, было ли это сном или галлюцинацией, — я вдруг явственно увидела рядом со собой мою бабушку, умершую полтора года назад. Она смотрела на меня с молчаливым отчаянием, и хотя губы ее были скаты, я поняла, что она говорит мне: "Я же предупреждала тебя! Что ты наделала!"

Незаметно, как серый паук, приполз третий выход: умереть. Едва пристроившись в укромном уголке мозга, он сразу начал быстро-быстро сучить лапками, извергая мягкую паутину. Да, это — самое лучшее. Во-первых, только это — полная гарантия того, что им не удастся заставить меня совершить что-нибудь бесчестное. Во-вторых, это будет неплохим подарком чекистам: пусть они потом попытаются объяснить происшедшее. Но, в-третьих, самое главное, — это будет м о й поступок, лично мой, задуманный и осуществленный против их воли. Они командуют мной, как роботом: идите налево, направо, прямо, лежите, не лежите. А я покорно подчиняюсь им — с какой стати?! Я свободный человек и не желаю жить по написанной неизвестно кем программе. Я свободно избираю другой выход.

Мысль о том, что должны пережить мой муж и все мои близкие, смущала меня очень мало: всего за несколько часов жизни в тюрьме я успела заразиться "эгоизмом арестанта". Вера в Бога тоже не помешала мне: я никогда не понимала, почему убийца и головорез может просить прощение Божье, а несчастный, дошедший до последней степени отчаяния самоубийца, повинный лишь в том, что его ноша оказалась для него слишком тяжелой, — нет.

Единственным недостатком этого плана мне казалась его трудно-выполнимость. В окнах, в глазке и плафоне, закрывающем лампочку, было оргстекло. Металлических предметов в камере было немного: только посуда, да и та алюминиевая. Да еще это нестрывное, не ослабевающее ни на минуту наблюдение... Все же я решила завтра попытаться наточить ложку: не для того, чтобы обязательно сразу ей воспользоваться, а просто на всякий случай, если настроение станет совсем уж скверным.

Несколько успокоенная этим решением, я все-таки заснула перед самым подъемом. Следующий день был полон разных мероприятий. С утра

пришла та самая женщина в белом халате. Я вспомнила, что Аркадий еще давно говорил мне о ней, и, кажется, она и на него произвела неплохое впечатление. Когда она стала раскладывать на моей тумбочке какие-то бланки, я спросила ее:

— Простите, вы прапорщик Мария Васильевна?

— Мария Ивановна.

— Извините. Знаете, а я слышала о вас от моего мужа. Он сидел здесь 4 года назад, и он хорошо о вас отзывался.

Я совершенно не ожидала такой реакции: Мария Ивановна густо покраснела, запуталась в своих бумагах и, замахав руками, поспешно сказала:

— Ах, что вы, бросьте, не надо!

Она еще долго не могла оправиться, разбиралась в бланках, поминутно поправляла очки и, наконец, стала расспрашивать мои анкетные данные. Когда она узнала, что мой муж сидит в Чистопольской тюрьме, а родители умерли, то, оторвавшись от заполненных бланков, посмотрела на меня долгим взглядом и вздохнула:

— О Господи, какое несчастье!

Я терпеть не могу, когда меня жалеют, но почему-то именно в тот раз мне совсем не было неприятно.

Потом меня фотографировали — в анфас и профиль, как в детективе, и снимали отпечатки пальцев. Я снова ходила с конвойным по бесконечным коридорам и переходам, возмущалась своей покорностью и придумывала, как бы мне выразить протест, вынестись из их схемы. Но ничего не приходило в голову.

Обед оказался неожиданно вкусным: овощной суп на мясном бульоне и жареная рыба с картошкой и половинкой хрустящего соленого огурчика. Кажется, именно тогда (о, неистребимая сила чревоугодия!) мне робко пришла в голову мысль, что, пожалуй, здесь тоже можно жить. Во всяком случае, стоит попытаться. К тому же за окном, против моих ожиданий, все-таки рассвело, и оказалось, что оно не упирается в глухую кирпичную стену и не забито железным листом — за ним небо, обыкновенное белое декабрьское небо. При дневном свете обнаружилось также, что решеток на окне не десятков, как мне показалось вчера, а всего-навсего одна, плюс еще "намордник" — плотные металлические жалюзи, не позволяющие смотреть из окна вниз. Правда, были еще железные переплеты двух рам, но это все-таки не решетки.

В тот же день Качкин вновь вызвал меня на допрос. Я шла на него с большой охотой: это была хоть какая-то деятельность среди из-

мучившего меня безделья, какое-то общение и единственная возможность узнать что-нибудь о происходящем на свободе. Качкин встретил меня очень любезно:

- Как вы спали, Ирина Залмановна, на новом месте?

- Пока не очень хорошо, но, думаю, скоро привыкну,

- Как вы себя чувствуете?

- Спасибо, сегодня уже лучше.

Это действительно было так. неожиданно начавшаяся болезнь так же неожиданно кончилась, оставив лишь слабость в ногах и трещины на запекшихся от вчерашнего жара губах. Кстати, в последующие годы я узнаю, что точно так же, с болезнью и температурой, переносят арест и - еще более удивительно - освобождение многие.

- У вас есть сигареты? Вы ведь курите, насколько я знаю.

- Да, я курю, но сигареты мне сейчас не нужны: я еще давно решила бросить, если вы меня посадите.

Качкин засмеялся:

- Ну что вы! У нас здесь некурящие закуривают. К концу следствия вы будете дымить, как паровоз.

Забегая вперед, могу сказать, что неправы оказались мы оба. Курить "как паровоз" я не начну, но и бросить окончательно смогу лишь на зоне, два года спустя.

Продолжая играть роль гостеприимного хозяина, Качкин предложил мне чай; я согласилась. Тогда он вручил мне стакан и попросил его вымыть. Я в недоумении повертела стакан на свет.

- По-моему, он совершенно чистый.

- И все-таки сходите в туалет, вымойте его. Чай я наливаю нам с вами из одного чайника, а стаканы разные, так чтобы не было потом каких-нибудь глупых слухов... знаете, как это бывает.

Мне стало смешно.

- Владимир Александрович, даже если вы приготовите для меня чай отдельно, я выпью его. Почему я должна бояться его больше, чем того, чем меня кормят в камере?

- Вы все-таки нам не верите?

- Прежде всего, я верю себе. Не могу представить, что после какого угодно чая вы сможете заставить меня сделать то, чего я не хочу.

- Вы правы, только мы такими вещами не занимаемся. А стаканчик все-таки идите вымойте.

На допросе я подтвердила вчерашний отказ от дачи любых показаний относительно моей деятельности или деятельности других людей. Качкин спросил, согласна ли я записать в протокол мою биографию. Немного подумав, я согласилась. Собственно говоря, никакого повода давать эти показания у меня не было, а было лишь страстное нежелание возвращаться обратно в свою "келью", к тоскливому шатанью взад-вперед от двери до окна.

Качкин подробно записывал, когда я родилась, где училась, где и кем работали мои родители и т.д. и т.п. В промежутках между этими вопросами он подробно растолковывал мне, насколько неуправляема линия моего поведения. Впрочем, его аргументы не блистали убедительностью или хотя бы разнообразием. Разговор протекал приблизительно так (с незначительными вариациями он повторялся потом на протяжении всего следствия):

- Ирина Залмановна, поймите же вы, что это просто несерьезно. К суду вы все равно будете давать показания, это же ясно. Это единственный разумный выход, и так поступают все, находящиеся у нас. Многие из них, кстати, ваши знакомые.

- Я понимаю, о ком вы говорите. Но я не могу понять, что же все-таки заставило их поступать таким образом. Если вы со всеми

остальными ведете следствие так же, как со мной, то есть просто сидите и разговариваете, то...

Качкин недовольно поморщился и перебил меня:

- Ну, разумеется, так же, а как еще?

- Да я вас ни в чем не обвиняю. Я просто говорю, что не понимаю многих людей, которых вы тут раскалываете, и в первую очередь Репина.

- Да, Репину было очень нелегко сделать этот шаг, но он все же нашел в себе силы, подумал о своей семье, о ее будущем.

- Ну вот, у него хотя бы семья - жена, дочка совсем маленькая. А у меня - пустая квартира и печать на двери.

- Ваш муж выходит в ссылку уже через год. Так что вам тоже есть о ком подумать.

- Послушайте, если вас так беспокоит судьба моей семьи, зачем же вы нас вообще забирали?

- Мы не могли поступить иначе. Вы на протяжении нескольких лет совершали преступления, вас многократно предупреждали, просили прекратить вашу оживленную деятельность, но вы не слушали. Что же нам еще оставалось делать? Любое государство вправе защищать свои интересы.

- Вот и защищайте. Только не надо, пожалуйста, говорить, что вы меня жалеете.

- Но я говорю правду. Мне действительно очень жаль, что вы сидите тут у нас. Тюрьма, следствие - это вещи тяжелые, их и мужчины не выдерживают. А вы - молодая девушка... У нас вообще здесь женщины бывают очень редко.

Я судорожно изобретала какое-нибудь хамство, которым можно было бы заткнуть этот гнусный поток соболезнований, но ничего не смогла придумать и сказала:

- Ну так отпустите меня домой из этого вашего каземата.

- Э, нет, так нельзя. Сначала - показания, потом сможем поговорить об остальном.

- Показаний я давать не буду!

- Ирина Залмановна, вы же умная женщина...

- Нет, я не умная женщина, и хорошо знаю об этом. Но в моей теперешней ситуации нужны не ум, а упрямство. А его у меня хватает.

- Да, ваше теперешнее поведение основано на чистом упрямстве. Я понимаю, что вы не хотите давать показания о Резниковых или о других ваших друзьях. Да я вас об этом и не прошу. Но почему вы отказываетесь отвечать на вопросы о деятельности Фонда? Ведь Репин знает о нем больше вас, и он рассказал нам все. Вы бы только подтвердили его показания и этим значительно поправили бы свое положение. Почему, наконец, вы не даете показаний о Репине и Розенберге? Они оба ведь дали показания на вас, очень подробные и откровенные.

- Мне об этом вашем Розенберге...

- Что значит "вашем"? Вы нас с грязью не мешайте, Ирина Залмановна! - угрожающе сказал Качкин, чуть привстав из-за стола.

- Что же вы отрекаетесь от своего лучшего агента? Он ведь столько добра вам сделал.

- Мы вполне в состоянии справиться с работой, не прибегая к помощи таких мерзавцев. И я еще раз прошу вас прекратить оскорблять нас.

- Ладно, пусть будет так. Так вот, мне об этом Розенберге омерзительно не то что показания давать, но даже произносить его фамилию. Я о нем вспоминать не могу.

- Ну, хорошо. Здесь я, пожалуй, могу вас понять. А почему вы отказываетесь говорить о Репине? Вы же понимаете, что этот

отказ не приносит никому никакой пользы и лишь усугубляет ваше положение.

Я немного подумала.

— Знаете, пожалуй, вы правы. Никакого практического смысла мой отказ не имеет. Но я считаю, что мое поведение сейчас — это вопрос не юридический или политический, а чисто моральный.

— Может быть, вы все-таки объясните, в чем заключаются эти самые ваши морально-этические соображения, на которые вы ссылаетесь все время?

— Могу объяснить, если вам это интересно. Во-первых, я просто боюсь давать даже самые нейтральные показания. Начать можно с них, а кончить полным расколом. Есть еще и опасность дать вам что-то новое, чего у вас еще нет. К тому же, я человек не очень умный...

— Ну что вы!

— ... и вдобавок крепкий задним умом. Я боюсь, что вы обведете меня вокруг пальца, как это уже было 4 года назад. Тогда я тоже вначале отвечала только на вопросы о себе, а к концу следствия дала показания еще и на Аркадия. В результате я получила двойную головную боль: и моральные издержки, и судимость за отказ от показаний в суде. Это была очень глупая история, и я не могу допустить, чтобы она повторилась.

Во-вторых, я не могу идти на компромиссы с вами хотя бы из-за моего отношения к вам.

— Лично ко мне?

— Нет, к вашей организации. Думаю, нет необходимости говорить об этом отношении, вы и сами все понимаете.

(Качкии, усмехнувшись, кивнул).

— Ну вот видите. Я и так иногда думаю: может быть, мне и без протокола не стоит с вами разговаривать.

Ну, а в-третьих, мне проще так вести себя. Не надо думать, вспоминать, решать, на какой вопрос как ответить; не надо напрягаться. Вот мы беседуем уже сколько часов, а я совсем не устала. А если бы я все это время отвечала на ваши вопросы, то была бы уже вся вымотанная и измученная. Зачем мне нужны все эти хлопоты? Свои три года я и без них получу.

- Вы можете получить намного меньше.

- Нет, я точно знаю, что получу именно три.

- Ну хорошо, Ирина Залмановна, вы же понимаете, что я собираюсь начать допрашивать ваших друзей и знакомых. Может быть, не все, но очень многие из них будут давать показания на вас. Вы окажетесь в нелепом положении, и все равно будете вынуждены отвечать на мои вопросы.

- Почему? Я сильно сомневаюсь, что вам удастся получить показания многих моих знакомых. Но даже если бы это и оказалось так, это бы ничего не изменило.

- Ну, в такой ситуации это уже совсем нелепо!

- А я так не считаю. Все мое дело - сплошная глупость, но эти ваши анекдотические обвинения вы можете протащить через суд и без моей помощи. О моей деятельности вы все знаете, мне нечего скрывать, некого выгораживать. Вопрос моего поведения на следствии - это вопрос моих отношений с вами. Почему он должен зависеть от ваших отношений еще с кем-то, я не понимаю. Пусть все свидетели делают то, что считают нужным, а я буду делать то, что считаю нужным я. Все очень просто.

- Что вы, Ирина Залмановна, это далеко не просто. Вы не сможете выдержать следствие.

- Владимир Александрович, вот вы мне все повторяете: выдержать следствие, выдержать следствие... А что я, собственно гово-

ря, выдерживаю? Обращаетесь вы со мной вполне культурно, не бьете, не пытаете, сейчас вот сидим, чай пьем, и даже с карамельками. В кабинете у вас, правда, холодно, холодней, чем в камере, но вы и сами тут со мной мерзнете, так что я не в претензии. Такое следствие, по-моему, можно выдерживать хоть целый год.

Качкин засмеялся.

— Батареи у нас топят плохо, это правда. А насчет следствия вы ошибаетесь, Ирина Залмановна. Это у вас сейчас такая иллюзия легкости, потому что вы всего второй день у нас. Увидите, что будет недели через две-три: это очень тяжело, просто невыносимо.

— Когда станет невыносимо, я вам сразу об этом сообщу. Но пока всё вполне выносимо.

— Ну что же, договорились.

Разумеется, допрос этот протекал в излюбленной кагебистами манере. К одному и тому же вопросу мы возвращались многократно, он лишь каждый раз формулировался другими словами и утонал в куче других вопросов, имеющих весьма косвенное отношение к делу или вовсе не имеющих такового. Как водится, к Качкину все время заглядывали в гости другие следователи и с ходу включались в нашу беседу. Зачастую это очень походило на перекрестный допрос, темп его резко ускорялся, но я была уверена, что такой допрос уверен лишь для человека, вынужденного обдумывать свои показания.

Наша оживленная беседа затянулась допоздна, и под конец допроса Качкин, кажется, выглядел утомленным. Когда я возвращалась с дежурным по коридорам, переходам и все той же бесконечной лестнице, то почувствовала, что теряю силы с каждым шагом, с каждой ступенькой. Когда же я опять очутилась одна в камере и увидела все ту же беспредельную черноту, переплетенную решетками, то снова решила, что жить здесь невозможно, пора что-то предприни-

мать. Легла на койку, начала точить черенок ложки об металлические полосы койки. Мягкий алюминий стирался легко, поэтому в тот момент, когда дежурный, заметив мой труд, быстро вошел в камеру, ложка уже напоминала тупой нож. Ее у меня, естественно, сразу отобрали и заставили писать объяснительную. Я написала, что пыталась серебряистой алюминиевой краской закрасить черные пятна на железном каркасе койки. Следом за мной началась еще более тщательная, чем в прошлый вечер...

Последующие дни были как две капли воды похожи на этот. День я проводила на допросе у Качкина, весело и непринужденно болтала с ним, а вечерами лежала на койке, тупо глядя в одну точку. Двигаться не хотелось; хотелось застыть вот так, в одном положении, навсегда. В раковине кисла грязная посуда, и однажды дежурный отчитал меня за то, что ему пришлось вымыть мою миску перед ужином, когда я была на допросе. Я перестала умываться, причешиваться; чистить зубы было просто нечем — не было зубного порошка. Дома я привыкла каждый день ополаскиваться под душем, и сейчас меня раздражал запах собственного невымытого тела. На тумбочке валялись попеременно апельсиновые корки с кусками хлеба — я для чего-то сушила и то, и другое про запас, и вся камера пропиталась резким запахом кислого ржаного хлеба.

Больше всего меня мучили одиночество и безделье. Для человека, столь избалованного "роскошью человеческого общения", одиночка оказалась кошмаром. Ухо, привыкшее к трезвону телефона и дверного звонка, к голосам друзей, к шуму транспорта и треску пишущей машинки, не могло улавливать тихие тюремные звуки и понимать их значение. Тишина была такая, что я ощущала себя единственной узницей в крепости-тюрьме, построенной специально для меня. Если бы это хоть на самом деле было так! Но мне ведь было точно изве-

стно, что здесь, рядом со мной сейчас находится по меньшей мере 12 человек, который я знала либо лично, либо по рассказам моих друзей. А может быть, сейчас нас здесь уже не 12-13, а 120-130?!

В коридоре на посту часто звонил телефон, но этот звук был чужим. Впрочем, дважды среди ночи я спрессонья, с закрытыми глазами выбрасывала руку влево, пытаюсь снять трубку своего телефона (он стоял рядом с кроватью), и просыпалась, стукнувшись о стенку камеры.

Единственными "вольными" звуками, проникавшими в нее, были классическое воркование тюремных голубей и протяжные, переливчатые воли кошек по ночам. Зима стояла необычайно теплая, и кошки, кажется, перепутали декабрь с мартом. Эти звуки были восхитительны, они свидетельствовали о том, что жизнь там, на воле, как это ни странно, продолжается... Впрочем, это были кошки и голуби. А вот продолжалась ли там жизнь людей — еще неизвестно. Хоть бы одного живого человека увидеть, пусть даже "наседку". Что из того? Никаких тайн я ей выдавать не собираюсь, да их у меня и нет...

Кажется, отчаяние не только оглушило, но и ослепило меня. Все дежурные казались мне на одно лицо, как китайцы. Большинство из них всем своим видом подчеркивали, что являются не более, чем придатком к тюрьме, вроде железной двери или "намордника" на окне. Но были и другие, те, кто всеми возможными способами выражали мне сочувствие и пытались приободрить (особенно это стало заметно после инцидента с ложкой). Один вместо "завтрак!", "обед!", "ужин" пропел в кормушку: "Выгляни в окошко, дам тебе горшочку". Другой слегка похлопывал меня по плечу, выводя на допрос. Третий уговаривал съесть ужин: "Ну, кушайте кашку, кушайте. Она вкусная, полезная, овсяная. Сам бы ел, да деньги надо!". Я воспринимала все это как назойливые приставания и сердито фыркала в от-

вет.

На четвертый день Качкин объявил мне, что я теперь уже не задержанная, а арестованная. Это улучшило мое положение: на следующий день меня вывели на прогулку. Я мечтала об этом, почти как о свободе, но когда увидела тюремный дворик, то вновь захлебнулась отчаянием. Чернота раннего декабрьского утра, распоротая прожектором, бьющим прямо в лицо. Высокие вверх стены, облепленные "шубой". Клочок припорошенного снегом асфальта и ни клочка свободного неба — поверх дворика натянута сетка. И вокруг всего этого — каре уходящих ввысь, в пасмурное беззвездное ночное небо, тюремных стен.

Я попыталась ходить взад-вперед, но постепенно ко мне стало возвращаться уже знакомое оцепенение, шаги сами собой замедлились, и наконец я застыла, приткнувшись к шершавой бетонной стене.

И вдруг — или это была галлюцинация! — я услышала несколько нот, пропетых женским голосом. Потом была недолгая пауза, и мелодия совершенно явственно зазвучала вновь. Женщина! Здесь! Поет! Высокий красивый голос доносился откуда-то издалека (я еще не знала о странных акустических свойствах тюремных двориков), слова было не разобрать, но по мелодии легко угадывался старинный романс. Я стояла, полураскрыв рот, ошеломленная, потрясенная...

Дежурный на вышке сделал короткое замечание, остановившись у какого-то дворика, и пение смолкло, но через несколько минут зазвучало снова, вначале такое тихое, что едва доносилось до меня, но потом все громче и громче. И вновь последовало замечание, и вновь неведомая невица упрямо отстаивала свое право на искусство. В промежутке между мелодиями звучал ее смех, да, да! самый настоящий смех, громкий и живой, смех человека, довольного собой и своей жизнью.

Вернувшись в камеру, я долго думала о том, сколько же должна была просидеть здесь эта женщина, чтобы научиться так смеяться. Я воссылала к ней молитвы благодарности за то неведомое для нее самой добро, которое она совершила своим смехом и своими романсами. Пройдет всего лишь месяц, и я узнаю, что это пение и смех предназначались именно для меня, еще не известной и не знакомой той женщине.

Впрочем, просвет был недолгим. И вновь, лежа на койке, я сосредоточенно выцарапывала на стене силуэт бегущей девушки в длинной юбке и с длинными распущенными волосами. Этой девушкой была я: девушка убегала отсюда. Однажды ночью я увидела отца: он наклонился надо мной так низко, что была отчетливо видна каждая красно-синяя старческая прожилка на его лице. Я пыталась улыбаться, говорить, что ничего страшного не случилось, мне здесь не так уж и плохо, но эта жалкая улыбка и бормотание были так нелепы, что я смолкла.

Я поняла, что если немедленно не найду себе какое-нибудь дело, то могу попросту свихнуться. И дело нашлось: попросив у Качкина тетрадь и карандаш, я начала вести дневник. Это занятие мгновенно поглотило все мое время и внимание: придя с допроса, я немедленно бралась за тетрадь. Жизнь обрела неожиданный интерес и смысл, она переставала быть натужным влечением собственного тела сквозь время. Я записывала свое состояние, ощущения, подробно, как пишется история болезни. "Слово изреченное есть ложь"; зафиксировавшись на бумаге, эмоции стихали и удалялись от меня. Наконец-то я была занята делом, настоящим созидательным делом, а не саморазрушительной беготней в колесе уже осточертевших мыслей. Дневник этот я собиралась уничтожить перед отъездом на этап. То-

гда он мне уже не будет нужен: я так долго и тщательно правила свои записи, что они оставались у меня в памяти навсегда, я это знала. Это казалось мне очень важным — запомнить все, переживаемое мною теперь, в мельчайших подробностях. Я уже чувствовала, что все переживаемое не отпустит меня после освобождения до тех пор, пока я не напишу об этом.

С утра Маша, заглянув в кормушку, сказала:

— Сегодня — библиотечный день. У нас очень хорошая библиотека; и я советую вам начать читать. Вы сразу почувствуете себя лучше.

— Да, я много слышала о вашей библиотеке.

Через несколько часов Маша принесла книги, которые я попросила — двухтомник Бернарда Шоу, комедии Шекспира, еще что-то из классики.

Почти одновременно с книгами мне принесли отоварку — полную корзину продуктов, заказанных еще накануне. Успев за пять дней ужасно соскучиться по сладкому, я в один присест едва ли не ополовинила килограммовый кулек конфет и пристроилась поближе к лампочке с Бернардом Шоу, довольная, как Мальчиш-Плохиш, получивший у буржуинов ящик печенья и бочку варенья. Кажется, именно тогда я впервые ощутила эту сумрачную неприглядную камеру своим домом, жилищем, а не эшафотом. У меня даже мелькнула вовсе уж дикая мысль: а что, если когда-нибудь я смогу полюбить эту камеру? "Первая камера — первая любовь".

Следующий день принес еще одну радость. Перед обедом дежурный втащил в камеру целую охапку одежды и корзину разнообразной снеди. Я сидела на койке, подперев подбородок кулаками, и завороженно смотрела на эту яркую и благоухающую грудку. Кто бы мог подумать, что яблоки и апельсины могут источать такой сильный аро-

мат! Вся камера в одно мгновение наполнилась дивным запахом, запахом свежести и свободы... Значит, обо мне не забыли, меня не бросили здесь одну. Предполагать такое было не только глупо, но и непорядочно, даже преступно по отношению к моим друзьям. Но все же та, первая передача была для меня потрясением, и я долго не могла ни за что взяться и всё сидела, перебирая прохладные ароматные апельсины и крупные, ярко-красно-желтые яблоки. Это были не просто фрукты, которые можно за деньги купить в магазине или на рынке, — это были плоды земли, раскинувшейся там, внизу, и это был знак дружбы и прощения за все, что я сделала плохого.

После обеда меня повел на допрос огненно-рыжий квадратный коротышка (позже мы нарекли его Карлсоном). Он был необычайно словоохотлив и, едва мы, миновав последнюю камеру, вышли в длинный пустой коридор, он спросил меня:

— Ну как вы себя чувствуете в нашем "санатории"?

— Благодарю вас, хорошо. У вас здесь вообще лучше, чем я ожидала.

— Ну что же здесь хорошего? Я вот каждый раз чувствую себя после смены больным. Дышать нечем, вот тут закладывает, — он звучно похлопал себя растопыренной коротенькой пятерней по мощной груди. — Тяжело здесь. Вокруг сплошной камень и бетон. Одно слово — каземат.

Да что же они, сволочи, все меня оплакивают?!

— Ну, камень... На то она и тюрьма. Зато библиотека замечательная и кормят тоже хорошо, лучше, чем в столовке на свободе.

— Одной библиотекой и столовой жив не будешь. Я хоть на улицу выйду, воздухом подышу. А вы все как тут сидите — не представляю.

Я засмеялась (эти соболезнования и вправду были очень смеш-

ны) и сказала:

- Это совсем не так страшно, как вам кажется.

Дальше до кабинета Качкина мы шли в молчании, и я радовалась, что этот разговор именно сегодня, а не двумя-тремя днями раньше. "Карлсон" ведь, кажется, понял, что я говорю совершенно искренне.

В тот день Качкин закончил описание моей коротенькой биографии. Закончилось оно на 1979 году, на нашей с Аркашей свадьбе здесь же, в комнате свиданий Большого дома. Говорить о чем-либо дальнейшем я отказалась, и вскоре была отпущена обратно в камеру.

Уже перед самым отбоем дверь камеры нежданно открылась, и жизнерадостно улыбающийся дежурный сказал:

- Ну вот, я вам компаньонку привел. Теперь будет вам вместе веселее.

Только тут я заметила стоящую за его спиной женщину. Она была невысока и стройна, но едва увидев ее, я почувствовала, что на меня надвигается что-то большое и непоправимое, и в отчаянии взмолилась про себя: "Не надо мне этого, не надо! Лучше весь срок в одиночке сидеть!" Женщина эта сразу вызвала в памяти булгаковскую Лапшенникову "со скошенными к носу от постоянного вранья глазами". Глаза ее, правда, не косили, но лицо было таким лживым, какие, я думала до сих пор, существуют лишь в пошлых мелодрамах. Какие они идиоты, что делают наседками людей с такими лицами! Кто сможет ей что-то доверить?

Мы сдержанно познакомились. Не звали Викой Даниловой; впрочем, в этом я не уверена: такие люди в одной камере называются Ивановым, в другой Грицкоком, а в третьей - Шапиро.

Она спросила меня: "Вы со свободы?". Я вспомнила, что Солженицын в "Архипелаге ГУЛАГ" пишет об арестованных, которые, придя из бокса в общую камеру, отвечают на такой вопрос: "Нет, уже

три дня здесь". Поэтому я ответила: "Да, меня забрали всего шесть дней назад. А откуда вы это знаете?" — "От вас запах еще вольный, пахнет духами".

Это было удивительно, хотя, уходя их дома, я вылила на свой шерстяной свитер чуть ли не треть флакона духов, мне казалось, что их запах уже давно выветрился и пахнет от меня уже не "Алицией", а специфическим тюремным коктейлем: затхлой сыростью, хлоркой, потом и кислым хлебом.

Вика стала заправлять постель и раскладывать в тумбочке свои небогатые пожитки. Ее движения были так спокойны и деловиты, что не оставляли никаких сомнений: это для нее самое привычное дело. Я спросила, сколько сидит здесь она.

— Сегодня приехала из Свердловска, с зоны — меня хотят допросить свидетелем по делу одного знакомого. Там я пробыла всего три дня. А вообще-то я живу здесь уже два с половиной года.

Ага, понятно, о каком знакомом тебя будут допрашивать. Ну что ж, попробуй сначала сама о чем-нибудь меня допросить.

Но Вика, похоже, нимало не интересовалась мной. Ее вполне удовлетворили три-четыре фразы, которыми я объяснила свое пребывание здесь. Зато она сразу охотно начала рассказывать о себе.

Сидела она вместе с мужем за контрабанду гжелевских сервизов и серебра за границу. Общая сумма переправленных ценностей была 32 тысячи рублей. За это, по ее словам, им с мужем должны были дать лет по 7-8. Но оба они с первых часов следствия начали так рьяно давать "искренние и чистосердечные", так глубоко каялись и провалили такое количество родственников, знакомых, полузнакомых и вообще не знакомых людей, что благородные "рыцари революции" не могли не отблагодарить их за это. Вике дали 3 года, ее мужу — 3 с половиной. Муж ее сейчас тоже находится в тюрьме.

Всё это она излагала мен совершенно спокойно, называя вещи своими именами и нимало не стесняясь. В ее тихом голосе порой проскальзывали даже нотки гордости. Я слушала ее, изо всех сил пытаюсь скрыть свое изумление и отвращение. Это было нечто совершенно новое, я никогда и не слыхивала о таком типе стукачей. Впрочем, я могла бы и не трудиться скрывать свои чувства: Вике было совершенно безразлично, какое впечатление производит на меня ее рассказ. Она говорила самозабвенно, как глухарь, покивший на току; ее явно радовала возможность рассказать новому человеку, какая она умная женщина, как ловко ей удалось выцутаться из трудного положения.

Прозвенел отбой. Вика мгновенно прервала свой рассказ, растелила постель, аккуратно подоткнув края одеяла под матрас, так что получилось нечто вроде конвертика, в которые кладут грудных детей, юркнула в этот конвертик и через минуту заснула.

Мне в ту ночь было не до сна. Я и без того с большим трудом привыкала к новому, необычному для меня режиму, а тут еще такое невероятное явление, требующее осмысления. Вика спала, закрыв лицо от света прядью длинных русых волос, ее дыхание было ровным и спокойным. А я по минутно вертелась с бока на бок, матрас проваливался в дырки решетки, одеяло и пальто все время упорно сползали на пол.

Почему-то я представляла наседку совсем не так. Мне казалось, что это будет разбитная бабенка, умеющая болтать, но способная и внимательно, сочувственно слушать. Она скажет мне, что сидит за какие-нибудь валютные махинации, при этом люто ненавидит совдепию, коммунистов, чека и полностью разделяет мои взгляды. Она будет советовать мне держаться на дырках и постепенно, осторожно начнет расспрашивать меня о моих друзьях, о работе в фонде.

Совершенно очевидно было то, что после всего рассказанного

сегодня эта Вика не сможет спросить меня ни о чем. Да даже если бы и не было этого рассказа — все равно, для такой деятельности нужны люди, умеющие хотя бы симулировать интерес к другому человеку. А по ней видно с первого беглого взгляда, что она умеет говорить исключительно о себе. Привезли ее сюда ради меня — это точно. Но зачем? Что она сможет сделать? Была бы она крепкой, сильной бабой — можно было бы ожидать, что она попытается терроризировать меня, устраивать скандалы, драки. Но об этом тоже не могло быть речи — она еле доходит мне до плеча. Может, она каратистка? Как омерзительно было бы оказаться избитой такой гнусью, — уж лучше бы Качкин на допросе... Но у них тут, кажется, такое не практикуется, да и в движениях Вики нет ничего от грации и скрытой силы движений каратиста.

Так ни до чего не додумавшись, я заснула. Утром Вика вновь поразила меня. Вскочив одновременно со звонком подъема, она быстро заправила постель, открыла форточку — в камеру ворвался морозный ветер — и начала делать зарядку. После зарядки она, так и не закрывая форточки, разделась до трусов и терополливо, словно в бане, вымылась ледяной водой — полностью все тело. Я лежала на койке в толстом шерстяном свитере и рейтузах, закутавшись в пальто, и смотрела на нее, помимо воли, с уважением — мне такое было недоступно, я не могла заставить себя даже толком умыться этой водой, ломящей руки.

Привезли завтрак. Лакомиться яствами, принесенными мне в передаче, когда рядом человек, хотя и достаточно скверный, ест пустую перловую кашу, оказалось невозможным. Я предложила Вике свои запасы. Она взяла лишь небольшой кусочек сыра, сказав, что боится потолстеть. Это было для меня еще более невероятным, чем мытье ледяной водой перед открытой форточкой.

Когда мы шли на прогулку, конвоир поздравил меня с соседством. Его усмешка была столь многозначительной, что меня передернуло.

Допрос в тот день был довольно короток. Качкин дежурным тоном задавал вопросы о моей работе в Фонде, о семьях, которым я передавала деньги, продукты, одежду. Я тем же дежурным тоном отказывалась отвечать на эти вопросы, и Качкин заносил мои ответы в протокол. Собственно, вопросов-ответов было не так уж много; все остальное время Качкин занимался "утеплением образа следователя" (кажется, именно так это называлось в учебном пособии для следователей, попавшем однажды мне в руки). Монотонным голосом он рассказывал мне о своей семье, о детях. Он сетовал: о кагебистах распространяют черт знает какие сплетни, будто бы они пользуются чуть ли не кремлевскими распределителями, а вот вн, Качкин, уже второй год не может достать своей жене приличные зимние сапоги. Прикрывая рукой рот, я кусала губы от смеха и сочувственно кивала головой. Еще он рассказывал о том, как трудно было ему учиться в Университете: в то время у них родился сын, мальчик был очень беспокойный, и Качкину приходилось, сидя по ночам над конспектами, одновременно ногой качать кроватку взад-вперед, от этого пальцы его ног стали сильными и цепкими, как у обезьяны. Я охотно выслушивала все эти истории, общество Качкина было для меня намного приятнее общества Вики Даниловой.

Уже под конец допроса Качкин тоном светской беседы спросил, верно ли он слышал, что я теперь живу не одна. Я подтвердила этот слух. Он спросил, как мне живется с соседкой, поладили ли мы с ней. Я отвечала, что живется нам вместе хорошо, да, собственно, из-за чего мы могли бы не поладить: у каждой своя койка, своя порция. Качкин, улыбаясь, покивал головой, и эта улыбочка была

точь-в-точь похожа на многозначительную ухмылку утреннего конвоира.

В камеру я вернулась с явным, хотя и не очень понятным мне самой предчувствием, что центр тяжести следствия смещается из кабинета Качкина сюда, в камеру. Беззастенчивость, с которой Вика рассказала о своих "подвигах", пугала меня, я ожидала каких-то неведомых провокаций. Как вести себя на допросах, я знала твердо, этому у меня было время научиться еще за время тех трех следствий, который я проходила свидетелем. Но чего можно ожидать от человека, в первых слов недвусмысленно объявившего себя наседкой, как нужно вести себя с ним — этого я представить не могла.

В камере Вика сразу спросила меня о моем допросе. Я коротко ответила ей и в ответ услышала целую лекцию. Это было удивительно — впервые Вика проявила интерес к чему-то, кроме ее персоны. Суть лекции сводилась к тому, что мое поведение чрезвычайно глупо. Одно дело — отказываться от показаний, когда ты после допроса возвращаешься к себе домой и можешь узнать, кого допросили кроме тебя и какие он дал показания, и совсем другое — здесь, в информационной блокаде. Все или почти все, кого я теперь считаю своими друзьями, несомненно, расколется — на то оно и КГБ, чтобы раскалывать людей. Друзья есть только на воле; здесь каждый должен думать о себе. Мне в конце концов все равно придется дать показания, когда Качкин забросает меня протоколами допросов свидетелей, но тогда будет уже поздно, Комитет обозлится на меня, и я все равно получу свои три года.

Раньше я не имела привычки спорить с человеком, глубоко чуждым и антипатичным мне. Я полагаю, что, споря, мы оказываем честь друг другу, признаем в нашем оппоненте какие-то душевные качества, родственные нашим. Причем самым глупым из всех безнадежных споров

я считаю спор с подонком на темы морали... Но то было на свободе, там можно было избежать спора, просто покинув общество неприятного человека.

От Вики мне было никуда не деться, поэтому я принялась подробно объяснять ей свои соображения, надеюсь, что больше она не станет возвращаться к этой теме. Но Вика, похоже, всерьез озабочилась моим спасением, она, так же как Качкин и вчерашний конвоир, не могла спокойно смотреть на 23-летнюю девушку, пропадающую в тюрьме ни за грош. Она продолжала говорить.

Я очень быстро дошла до бешенства, хотя вообще-то считаю себя спокойным, даже несколько флегматичным человеком. Захотелось сказать какую-нибудь грубость, устроить скандал. Но я полагала, что именно этого от меня и ожидают; значит, мне надо сдерживаться и во что бы то ни стало сохранять безмятежный вид. Да к тому же мне было трудно нахамить человеку, который разговаривает со мной с безупречной вежливостью. Вика даже отказалась перейти со мной на "ты", хотя я считала это наиболее естественной формой обращения для сокамерниц.

Однажды я сделала попытку избавиться от Викиного общества. Это было еще в начале нашего с ней вынужденного сожительства. Тюремная тишина для меня становилась уже не столь глухой, как в самые первые дни, я понемногу привыкала различать шаги в коридоре, голоса, смех и кашель в прогулочных двориках. Однажды во время прогулки мне показалось, что я слышу в соседнем дворике голос Валеры Репина. Удивительно, но, находясь на свободе, я переживала все его эскапады на следствии с гораздо большим возмущением, чем теперь, сидя в тюрьме за материалы, сданные им. Этот голос пришел ко мне оттуда, из прежней жизни, и я внимательно прислушивалась к нему, пытаясь убедиться точно, он ли это. Вики в тот день со мной

не было — она почему-то не пошла на прогулку. Вдруг тот человек за стеной засмеялся, громко закашлялся, и я сразу поняла: да, это он. Тогда я впервые узнала, что человеческие голоса могут легко искажаться временем, расстоянием, стенами, но по кашлю и смеху человек узнается безошибочно. Волнуясь, я забегала взад-вперед по дворику. Необходимо было срочно сообщить Валере о моем аресте: может быть, он еще этого не знает. Скорее всего, меня за это посадят в карцер. Но в этом я не видела ничего плохого: интересно все-таки узнать, какой здесь карцер, а, самое главное, на это время я отдохну от Вики. Набрав в грудь побольше воздуха, я завопила так, что каждое мое слово услышала Вика за двойными стеклами крошечного окна на четвертом этаже:

— Валера, это ты? Я — Ира Цуркова!

Шарканье и топот в соседних двориках смолкли. Дежурный на "карусели" бросился к моему дворику и закричал: "Прекратить!"

Валера ответил:

— Да, это я! Ты здесь?! — дальше последовал мат, адресованный, как можно было догадаться, уже не мне.

Дежурный вновь закричал: "Прекратить немедленно!" — и схватился за трубку телефона. Я, заглушая его кри, продолжала:

— Мне инкриминируют материалы, изъятые у тебя: тетради с анекдотами и документы о Лебеде и Аркаше. Я отказываюсь давать показания.

— Понял тебя!

— Перестаньте сейчас же!

— Да я уже все сказала, больше не буду, успокойтесь!

В ту же минуту дверь прогулочного дворика распахнулась. Дежурных было трое. Испугавшись, что сейчас они поволокут меня по грязному асфальту, я выпорхнула из дворика и почти побежала в тюрь-

му, намного опередив своих конвоиров. Через час меня вызвал начальник тюрьмы Старков. Мне было любопытно, как должен выглядеть начальник такой легендарной тюрьмы, как Шпалерка. Оказалось — ничего особенного, типичное чекистское лицо без всяких примет. Сделав каменную физиономию, он спросил:

— Вы знаете, что совершили очень серьезное нарушение?

— Конечно, знаю.

— Я должен наказать вас.

Я кивнула головой:

— Наказывайте.

Почему-то этот простой и совершенно естественный ответ вызвал ужасное возмущение Старкова. Он закричал:

— Вы тут Жанну д'Арк не стройте! Здесь вам не следственный отдел, а тюрьма!

Очень миролюбивым тоном я попыталась ему объяснить, что не понимаю причин его гнева и не знаю, какого иного ответа он от меня ждал: неужели уверений в том, что я не знала о запрете переговариваться через дворики. Не дав мне договорить, Старков махнул рукой:

— Хватит! Я объявляю вам выговор. Идите.

Потянулись тяжелые дни. Качкин вызывал меня на допросы не чаще двух раз в неделю, да и сами допросы были весьма лаконичны. Я изо всех сил старалась протянуть их, но сделать это, отказываясь от показаний, было трудно. Первое время Качкин охотно выслушивал разнообразные истории и анекдоты, которые я ему рассказывала, как Шехерезада Шахрияру, отдавая момент не казни, но возвращения в общество Вики. Но он быстро понял мою тактику, и как только я начинала свои отвлеченные повествования, он весьма неделикат-

но обрывал меня и вызывал конвоира.

Зато Вика полностью компенсировала дефицит нашего общения с Качкиным. Если она не хлопотала о моей загубленной судьбе, то рассказывала эпизоды своего дела, и это было не намного легче. Одним из посаженных ею людей был ее родной дядя, инвалид войны. Именно он одолжил ей 16 тысяч, с которых она начала свои махинации, и именно его она, видимо, в благодарность за это, посадила первым. Несмотря на очень плохое здоровье и старость, он оказался крепким человеком, на следствии вел себя отнюдь не так, как его молодая здоровая племянница, и отправился в лагерь на 10-летний срок, не имея никакой надежды вернуться домой. Вика говорила о нем с явным презрением.

В другой раз она рассказала мне, как ее допрашивали о вечеринке у друзей, где она познакомилась с несколькими гостями. Многих из них она потом ни разу не встречала, но когда на допросе ей показали фотографии, сделанные на том вечере, она смогла вспомнить всех и тем оказала большую помощь следствию. Большинство этих людей было арестовано. Рассказывала она об этом с гордостью за свою феноменальную память: с того вечера до допроса прошло больше года.

Я с ужасом смотрела в большие, голубые, не замутиненные ни малейшим сомнением в собственной правоте глаза этого маленького чудовища. Может быть, я была слишком наивна, но для меня ~~да~~ оказалось настоящим потрясением узнать, что на свете существуют люди с начисто атрофированной совестью. Позже мне приходилось встречать убийц, оставивших за собой четыре трупа, малолеток, едущих на "взрослую" зону, — я никому не пожелаю встречи с этими девочками. Все они, говоря словами Солженицына, "далеко ушли от человечества". Но про Вика даже этого нельзя было сказать — она в это чело-

вечество просто никогда не входила. Я понимала, что общество, отрянувшее от своих ног прах религии, морали, милосердия, неизбежно должно было наплодить подобных монстров. Но, с другой стороны, ведь не всевластно же это общество — иначе все мы были бы подобны Вике, ведь не может оно держать в руках души своих подданных. Есть же еще оазисы, на которых все мы спасаемся, — семья, хобби, да хоть пьянство, наконец.

Вика ненавидела пьяных. Однажды в доме отдыха ее позвали в соседнюю комнату на помощь к мужчине, которому стало плохо с сердцем (особая пикантность была в том, что Вика имела профессию врача). Узнав, что он только что вернулся из ресторана, где выпил лишнего, Вика категорически отказалась даже подойти к нему. Все попытки напомнить ей о врачебном долге ни к чему не привели; она твердо отвечала: "Умрет — одним пьяницей меньше будет".

Но одна история, рассказанная Викой, потрясла меня неизмеримо больше прочих, хоть она и не касалась прямо викиных художеств. Этот случай произошел, когда Вика вместе с еще одной наседкой обрабатывали Наталью Лазареву. Наталья была арестована по 70-й статье — за издание феминистического журнала "Мария". Это был уже второй арест в ее жизни: после предыдущего 10-месячного срока она успела пробыть на воле менее года. Поэтому меня удивила скорость, с которой она начала "колоться", и глубина этого "раскола". Один раз я видела ее, это было незадолго до ее (да и моего) ареста. Меня поразила ее худоба, издерганность и лихорадочный, воспаленный, как у героев Достоевского, взгляд. И вот теперь, глядя на Вику, я пыталась представить себе, что же должна была пережить эта несчастная Лазарева в обществе Вики и той, другой дамы, о которой Вика отзывалась с большим уважением, стукачки еще более маститой, так как она просидела в следственной тюрьме ни больше, ни мень-

ше - четыре года.

Как рассказывала Вика, Лазарева сидела оченьскандално, причем основным объектом ее вылазок были, как ни странно, дежурные прапорщики. Она постоянно из-за чего-нибудь ссорилась с ними, поливала их самым изощренным лагерным матом, которому успела выучиться за 10 месяцев на Саблино, и однажды довела какого-то прапора до бешенства, вернув ему вместе с прочитанными газетами его портрет, где он был изображен в виде мужского полового органа. Ее несколько раз лишали отоварки, грозили посадить в карцер, но, кажется, до этого дело не дошло.

Однажды на прогулке Лазарева начала демонстративно громко петь. Дежурный с вышки приказал ей замолчать; она, увеличив громкость голоса в несколько раз, принялась обкладывать его матом. Через несколько минут этого выяснения отношений прапорщик понял, что Лазарева не собирается утихомириваться, и вызвал дежурных. При виде их она легла на асфальт и заявила, что никуда не пойдет. Ее взяли за руки, за ноги и отнесли в камеру. Когда Вика и другая сокамерница вернулись после прогулки, Лазарева лежала на койке и смеялась: "Молодцы ребята, донесли аккуратненько до самого четвертого этажа. Зато здесь, в камере, положили прямо на пол, не могли уж до койки дотащить". Вика ответила: "Надо же, вы так плохо себя ведете, все время скандалите с ними, а они вас на руках, как икону, на четвертый этаж на руках принесли. Нас бы так!"

Ждать им пришлось недолго. Викину коллегу вызвали на допрос через пару часов после прогулки (допросы на четвертом году пребывания в следственной тюрьме!). Вернулась она с допроса на руках двух прапорщиков, сверкая свеженьким, еще влажным белоснежным гипсом - от колена до пальцев ноги. Идя на допрос, она подвернула ногу на

гладком паркете и встать уже не смогла. Перелом оказался сложным, со смещением обломков кости, и целый месяц она пропрыгала по камере на костылях. Но в тот, первый день, костылей в санчасти не нашлось — и ее принесли на руках.

Викина очередь настала на следующее утро: во время прогулки она рухнула, как подкошенная, на асфальт. Во дворике они были уже вдвоем с Лазаревой — та подняла крик. Прибежали дежурные, стали щупать пульс, слушать сердце — пульса нет, сердце не бьется. Бегом, прыгая через ступеньки, они потащили Вику в комитетскую поликлинику, туда же, сдирая на ходу пальто, понесся только что пришедший на работу тюремный врач. Вызвали "Скорую", и реанимационная бригада долго возилась с Викторией, возвращая ее в сей мир. У нее просто-напросто вдруг остановилось сердце: не захотело больше работать, и все тут, и несколько минут Вика была в состоянии клинической смерти. Естественно, в камеру она приехала опять-таки на тех же руках прапорщиков. Все это свершилось в течение одних суток, на следующий день Наталья Лазарева гуляла во дворике уже одна.

Эта история навела меня на мысль, что мы, горсточка мужчин и женщин, вознесенных на высоченный четвертый этаж башни Большого дома, находимся гораздо ближе к Богу, чем пять миллионов людей, спящих у подножия нашей башни, обтекающих ее живыми плотными реками.

Прежде я не считала себя глубоко религиозным человеком, хотя и приняла крещение за год до ареста. В существовании некоей высшей силы, управляющей миром, я не сомневалась, но само крещение было для меня скорее обрядом, данью моде, как ни страшно это выговорить. Арест все изменил. В первые дни ослепляющего, оглушающего отчаяния я пыталась молиться, но молитва приносила мне, вместо

утешения, еще больше отчаяния: слова мои словно упирались в глухую стену. Я чувствовала себя словно сброшенной на дно пропасти и в ужасе думала: сколько же грехов лежит на моей душе, если Господь даже в такой ситуации не внимлет моим молитвам. Но это длилось очень недолго: три, может быть, четыре дня. А дальше началось неожиданное и необычное.

Не знаю, какими словами можно передать то, что произошло со мной в одну из тех бесконечных, бессонных ночей. Я вновь пыталась молиться, уже без всякой надежды, просто по привычке. Я не просила вывести меня отсюда — это было бы смешно; я просила дать мне силы пережить все это. Если перевести то, что я почувствовала во время той молитвы, на скудный язык наших физических ощущений, то это будет чувство теплой руки на голове, чувство прохладного, невесть откуда взявшегося ветерка в душный день. Но любые физические ощущения были несравнимо беднее того совершенного, радостного покоя, который неожиданно пролился на меня. Все вдруг показалось мне не таким уж безнадежным, как минуту назад, и я заснула со странным ощущением спокойной готовности ко всему.

Потом эти ощущения стали повторяться, они были подобны коротеньким вспышкам, но свет от этих вспышек делал и всю остальную жизнь намного светлее. Молитвы были для меня живым общением с Богом, как с отцом, любящим, успокаивающим и благословляющим. Той же зимой 82–83 года другая Ирина — Ратушинская, — сидевшая тоже в тюрьме КГБ, только Киевской, писала:

Через жар и озноб я дойду, я дойду до апреля.

Я уже на дороге. И Божья рука на плече.

Я узнала эти стихи намного позднее. Но тогда у меня было то же самое чувство — благословляющей руки на плече.

Когда мне приказывали собираться на допрос, я быстро одеваю

лась и, глядя в окно, молилась. Эта молитва всегда была одной и той же: чтобы Господь даровал мне силы, чтобы уберечь меня от мерзостей, которые я могу совершить по слабости или по глупости. По дороге на допрос — а она была очень долгой, с четвертого этажа на первый, по длинным коридорам и переходам — я продолжала эту же молитву. Она приносила мне такое полное, совершенное чувство спокойствия и защищенности, что если бы кто-то в тот момент оказал мне о какой-либо возможной опасности, я бы просто расхохоталась ему в лицо. Какие жалкие потуги земных людей могут повредить мне, если Сам Господь хранит меня?!

Странные вещи происходят с человеческой душой в тюрьме. Она словно сбрасывает с себя все ненужные одежды и предстает в чистом, обнаженном виде. Тишина, одиночество, отдаленность всяческой суеты преобразуют человека, сосредотачивают его на том, о чем прежде у него не было возможности неторопливо подумать. Камера обращается в храм — без священника, без алтаря и икон. Все это заменяет присутствие Живого Бога, человек прямо к Нему обращается с молитвой и покаянием и из Его же рук принимает прощение.

Неведомо откуда всплывали из глубин моей памяти эпизоды, казалось бы, давно похороненные там. Это было очень давно, лет 8 назад. Я торопилась из школьной столовой, бережно неся на растопыренных ладонях целую пирамиду корзиночек с повидлом. Корзиночек было много, штук 8, деньги на них мы собрали вчетвером, и в классе меня ждали три мои подружки, все мы успели изрядно проголодаться к пятому уроку. Внезапно из-за поворота вылетели двое мальчишек лет десяти и, сцепившись клубком, подкатились мне под ноги. Вся хитроумно построенная пирамида в моих руках рухнула, корзиночки разлетелись в разные стороны. Один из мальчишек успел

удрать, другого я начала бить ногами по животу и по груди. Остатки злополучных корзиночек скользили под моими ногами, растаптывались по грязному полу, мальчишка кричал отчаянным голосом, и я не могла остановиться...

Теперь мне казалось, что это продолжалось бесконечно долго. И бесконечной была пытка тем воспоминанием. Вика спала, бесшумно и неподвижно, как обычно, — так спят только люди с очень спокойной и чистой совестью. А я крутилась на комковатом тощем матрасе, и мне было так плохо, что иногда не удавалось сдерживать стон — словно те удары врезались теперь мне в живот. Но вот странно — пытка не была бесплодной: когда это воспоминание было прожито, я ощутила уже знакомый мне полный покой и ясно поняла: наступило прощение. Потом накатывало новое воспоминание — котенок на дереве, в которого швырялись камнями пацаны. Я пробегала мимо них, как обычно, торопясь по каким-то делам. Но были ли те дела важнее несчастного котенка?

Допросы становились все реже и наконец совсем прекратились. Уже две недели Качкин вообще не вызывал меня, и это меня очень пугало. Следствие продолжается, значит, сейчас он допрашивает других. Когда он вызовет меня снова, у него на столе уже могут быть протоколы с показаниями на меня. Как я смогу принять это? Нужно быть готовой ко всему. У меня это уже четвертое следствие, не считая всяких мелких провокаций, а кто-то попадет сюда в первый раз. Кто-то захочет помочь мне, заврется, запутается. Как они умеют запутывать людей, обращать во зло даже самые добрые намерения, — мне это хорошо известно. Я увижу только конечный результат — протокол, а откуда мне знать, какая хируроспешения и маразмы предшествовали ему? Мое поведение останется прежним, должно остаться прежним, а кто, как и почему начал давать показания,

— это мы разберемся потом, через три года.

Но Викино присутствие отнюдь не способствовало сохранению спокойного состояния духа. Моя ненависть к ней переходила все пределы; я уверена, что так можно возненавидеть только своего единственного соседа по тюремной камере. Она выводила меня из себя даже самыми невинными репликами и действиями. Я поняла буквальный смысл слов "я не могу дышать с ним одним воздухом". В самом деле, вот этот воздух, который я сейчас вдыхаю, только что побывал в ее легких и отравился ее дыханием. Теперь и я стала чаще открывать форточку: ледяной январский ветер мгновенно выстуживал камеру и давал хотя бы иллюзорное ощущение свежести.

А Вика все продолжала растолковывать неразумность моего поведения. Ничего нового она не придумывала, а просто монотонным голосом, удивительно похожим на голос прокурора Большакова, повторяла свои увещевания: нужно начинать давать показания, нельзя злить следователей, все друзья давно обо мне забыли и спасают каждый сам себя.

Сейчас я уже не очень хорошо понимаю, как мне удалось те две недели без устали, ровным голосом повторять: "Нет, вы не правы, Вика, вы ошибаетесь, я так не думаю". Сказалось убеждение, что с гебистами необходимо действовать от противного: раз они провоцируют меня на взрыв, скандал, драку, то мне необходимо изображать полную безмятежность и спокойствие. Да еще эта Вика была мала, как ребенок, — она еле доходила мне до плеча — и настолько слаба физически, что после стирки мне каждый раз приходилось выжимать ее одежду, иначе у нас в камере не просыхали лужи на полу. Как мне с моими сильными, тренированными руками машинистки и формами коровинской крестьянки бить такую козявку? И как я потом буду объяснять всем, за что попала в карцер?

Я молила Бога ниспослать мне терпение. Но оно все таяло, таяло... Взрыв произошел неожиданно для меня самой; для него не было никакого особого повода. Просто в одно далеко не прекрасное черное январское утро, когда я, скрипя свежевывпавшим снегом, металась взад-вперед по дворику, Вика произнесла первые два-три слова очередного внушения. Захлебнувшись от ненависти, я рывкнула что-то непотребное и ринулась к ней. Вот оно, наслаждение! Сейчас кулаком с размаху — по лживому маленькому личику, потом за волосы — и лицом от стенку, об бетонную шубу! Я уже сорвала и швырнула в снег вязаные рукавички, уже, кажется, занесла кулак. Ослепительный прожектор бил Вике в лицо, я видела, как расширяются ее зрачки и искажается лицо гримасой ужаса.

— Что вы, Ира, что вы, что вы...~~х~~ жалко залепетала она, вжимаясь в угол и сползая вниз по стенке.

Что-то надломилось во мне. Вдруг представилось, как мы выглядим со стороны: я, огромная, расвирипевшая, с занесенным кулаком, и Вика, крошечная, смертельно перепуганная, сползающая к моим ногам. Мне стало невероятно смешно, и я, упершись лбом в стенку, громко расхохоталась. Это была почти истерика, я не могла остановиться, содрогалась и захлебывалась от накатывающих приступов смеха. Дежурный на вышке, подойдя к нашему дворику, с недоумением смотрел на меня; Вика медленно поднялась с корточек и опасливо отошла в сторонку. А я все не могла остановиться и смеялась, смеялась...

С этой минуты Вика замолкла. Замолкла окончательно, навсегда, осознав, какой опасности она себя подвергала. Еще пять дней мы прожили вместе, и за все это время сказали друг другу от силы пять предложений: "Кашу на вас брать?", "Давайте миску" или "Возьмите кружку". Я целыми днями читала "Остров сокровищ" на ан-

глийском, продираясь через хирсоплешения полузабытого сюжета. Вика почти не "доставала" меня своим присутствием, но все-таки я была очень рада, когда на пятый день она объявила, что комитетчики подобрали ей хорошее место — врачом на Саблино, и сегодня ее туда отправят, причем не в "автозаке", а на комитетской "Волге".

Еще неделю я прожила одна, в десятый раз перечитывая комедии Шоу и недоумевая, почему мне так не нравилось сидеть в одиночке после ареста. Воистину все познается в сравнении.

В один из тех дней меня наконец-то вызвал Качкин. Я шла на допрос с сердцем, обмирающим и проваливающимся куда-то в желудок. Сейчас он предъявит мне все, что успел настрять за эти две недели... Но едва войдя в кабинет, я поняла, что эти две недели принесли Качкину полное фиаско, — такой у него был неуверенный, почти виноватый вид. От бывшего насмешливого, покровительственного тона не осталось и следа. Но неужели ему совсем-совсем нечего предъявить мне? Ни одного малосенького протокольчика, ни одного ошибочного ответа на вопрос?

— Вы знаете, я вчера допрашивал Андрея Резникова, — сказал Качкин и, засмеявшись, покачал головой. — Ну, он тут у меня намудрил. Пытался спасти вас, запутался, заврался, и, конечно же, в результате сделал ужасную глупость. Наговорил гораздо больше, чем хотел сказать.

Мне тоже стало смешно. Какой же он непроходимый идиот! Из всех моих многочисленных знакомых и друзей умудрился выбрать именно того, кому я верю значительно больше, чем себе, и пытаюсь "колоть" меня на нет!

— Но вы же сами говорите, что Андрей пытался спасти меня? — спросила я. — Значит, у него не было дурных намерений, и я не могу быть на него в претензии. А что он, кстати, такого сказал обо мне?

- Да так, всякие глупости.

(К слову сказать, это и действительно была глупость. Три года спустя я узнаю, что обыск в квартире Резниковых шел одновременно с моим. У них изъяли одну из копий моей книжки с зашифрованными записями анекдотов, и на допросе Андрей дал показания, что эта книжка - его. На остальные вопросы Качкина он отказался отвечать, а для чего нужно было отвечать на этот - я и сейчас не понимаю).

Вновь потащилась дурацкая тягомотина допроса: "Эти стихи исполнены вашей рукой?" - "Я отказываюсь отвечать на вопрос". - "Вот акт графологической экспертизы, она установила, что почерк - ваш". - "А я этого и не отрицаю, я просто предлагаю вам обходиться без меня".

Я отдыхала, расслабившись после напряженного ожидания допроса, сосала принесенные с собой леденцы - с курением было уже покончено. Мне было неприятно смотреть на свои руки с обломанными, обкусанными ногтями и заусеницами, и я спросила Качкина, не может ли он дать мне ножницы. После бани нам выдавали ножницы, но они были одни на все камеры, и я не пользовалась ими. К моему удивлению, Качкин выложил на мой столик неведомо как оказавшиеся в его кабинете маникюрные щипчики и пилочку, и я, искренне поблагодарив его, увлеченно занялась маникюром.

- Вы, кажется, сейчас сидите одна? - спросил Качкин. - Наверное, вам тяжело?

- Нет, что вы, я прекрасно себя чувствую! - воскликнула я, подозревая, что моему отдохновению пришел конец.

- Все-таки придется к вам кого-нибудь подселить. По правилам, женщину нельзя держать в одиночке больше трех дней. Будете потом всякие страсти про нас рассказывать...

— Но я могла бы сидеть в одиночке хоть все следствие. Хотите, напишу расписку, что не буду предъявлять к вам никаких претензий?

— Нет, не нужно. Соседку мы вам обязательно дадим. Проблема только в том, что дать сейчас некого. С Маргаритой Климовой вас соединять нельзя — вы идете по аналогичным статьям.

Арестовать кого-нибудь, что ли?

— А вы что, способны арестовать кого-то по таким основаниям?

— Ну что вы, я же пошутил. Придется какую-нибудь уголовницу из "Крестов" привезти. Подберем вам кого-нибудь.

В камере я отчаянно ругала себя. Дура набитая, никак не могу сообразить, где нахожусь! Веду себя с ними, как с приятелями. Нужно было, едва придя в кабинет, начать жаловаться, говорить, что в одиночке сидеть невыносимо, требовать перевести к кому угодно, лишь бы не одной. Как раз могло сработать — отдохнула бы хоть месяц... А теперь сиди и жди новую подружку — специально подобранную уголовницу из "Крестов"!

Когда на следующий вечер, перед отбоем, дежурный внес в камеру новую койку и тумбочку, я уселась на свою кровать, приняв как можно более воинственную позу — что было нетрудно при моей комплекции. Должно быть, я очень походила в эту минуту на героя Евгения Леонова в фильме "Джентльмены удачи".

Вошла женщина в тренировочном костюме и слегка улыбнулась мне, открыв отсутствие четырех передних зубов. Она была одного роста с Викторией, но еще худее, и больше походила на неразвившуюся девочку-подростка, чем на женщину.

Уголовница! Та самая, обещанная, из "Крестов". Но что ж они такую дохленькую подобрали? Я ведь теперь ученая, больше терпеть

не буду! Чуть что начнет — сразу табуреткой по голове!

Немного прибодрившись, я на всякий случай улыбнулась незнакомке.

— Меня зовут Люда. А вас?

— Меня — Ира. Вы здесь давно?

— С сентября. А вы?

— С декабря.

— Вы, наверное, диссидентка?

— Да.

— А я — контрабандистка.

Это было сказано так легко и просто, что я невольно улыбнулась.

— Я уже знакома с одной контрабандисткой. Ее зовут Вика Данилова.

— Это она-то контрабандистка?! Да пусть лучше не называет себя так, не позорит звание! Переправила на границу какую-то дешевку, гжелевские шлошки — и теперь она тоже контрабандистка!

— Вы сидели с ней?

— Нет, я сидела с ее соседкой, тоже сухой порядочной. Она меня пыталась обработать. А какая сумма иска у этой Даниловой?

— Кажется, 16 тысяч.

Люда презрительно расхохоталась. Набравшись смелости, я спросила:

— А сколько у вас?

Она назвала цифру, от которой у меня закружилась голова. До сих пор я считала, что такие суммы могут фигурировать только в отчетах Министерства финансов.

Быстро и аккуратно разложив свои вещи в тумбочке, Люда устроилась поудобнее на койке и, достав пачку сигарет, предложила

мне. Я тоскливо вздохнула. Один вид полиэтиленового мешка с несколькими десятками пачек сигарет прихлопнул все мои надежды на успех борьбы с никотиновым зельем.

— Вы не курите?

— Больше месяца не курила, со дня ареста. Но теперь, видимо, придется. Только у меня нет ни одной сигареты, а отоварка еще не скоро.

— Это пустяки: видите, у меня много... Может, перейдет на "ты"?

§ — Согласна.

Мы закурили, сидя на койках друг против друга. Струйки моего и людиного дыма смешивались и колыхались столбом в свете лампочки.

Должно быть, Всевышний наделил меня тем же весьма сомнительным в нормальном мире, но бесценным для Советского Союза даром, что и Солженицына, — умением распознавать тюремных насекомых. Уже после нескольких часов общения я на чисто эмоциональном, внелогичном уровне чувствовала, с кем имею дело. Может быть, стукачи попадались чересчур примитивные — мне было просто смешно смотреть на их потуги выглядеть порядочным человеком, когда на лбу горела Каинова печать, яркая и заметная, как красный нос электрички среди голых осенних кустов.

Лишь один раз за три года случился прокол — тогда я, замученная приставаниями стукачей, заподозрила ни в чем не повинного человека и долго, раздраженно гнала ее вон от себя.

Уже давно прозвенел отбой, мы залезли под одеяла, наш разговор перескакивал с темы на тему, и мы не могли наговориться, как старые знакомые после долгой разлуки. Наверное, это и есть тюремный фатум — ждешь очередного пресса, ждешь в жутком напря-

жении всех душевных сил — а на тебя сваливается подарок, сравнимый разве что со свободой. Мне и в самом деле казалось в ту ночь, что я уже на свободе; за окном — зимняя ночь, традиционное время долгих бесед; комната полна дымом сигарет, и рядом со мной — Ира Резникова. Они были удивительно похожи — Ира и Люда, похожи обликом, острым ироничным умом, всегда восхищавшим меня, а главное — огромной энергией, плотно сконцентрированной в хрупком теле. — И это — при полном несхождении, даже противоположности каких-то главных жизненных установок.

Людина жизнь и история ее семьи сама по себе может быть сюжетом романа. Такие скжеты очень любят романисты, описывающие эпоху через историю одной семьи.

Ее бабушка происходила из дворянского рода. Ей было 14 лет, и она училась в Смольном институте, когда нагрянул 17-й год. Семь ее братьев, младшему из которых было 16 лет, ушли защищать царя и Отечество, и все полегли на фронтах братоубийственной войны. Родители ее тоже погибли, а сама она, последний крошечный обломок большой семьи, каким-то вихрем оказалась занесена в дальнюю деревню Красноярской губернии. Можно лишь представить себе, что пережила 14-летняя воспитанница Смольного в сибирской глухомани. Она батрачила у кулаков, работала в поле, выполняла самую грязную и тяжелую работу на дворе. Ей было 16, когда она забеременела от своего хозяина. Из дома ее, разумеется, выгнали с новорожденным мальчиком на руках. Идти было совершенно некуда, кроме ~~как~~ как к проруби. Туда она и пошла, и уже собиралась шагнуть с сыном на руках в черную воду, когда малыш проснулся и заплакал. Этого оказалось достаточно, она повернулась и пошла прочь от проруби. Еще несколько месяцев она мыкалась, едва не погибая от голода, и все же спасла и себя, и мальчика. А потом ее подобрал

40-летний бедный крестьянин. Он полюбил эту странную 17-летнюю батрачку-графиню, женился на ней, стал отцом ее сына. Они начали жить-поживать и добра наживать, и действительно успели кое-что нажить благодаря сверхъестественному даже для крестьян надрывному труду, когда началась коллективизация. Вчерашние бедняк и батрачка были объявлены кулаками — кому-то из активистов очень понравилась их швейная машинка "Зингер"! Из дома, где были уже двое сыновей (младший — будущий Людин отец), вывели все подчистую. Семья вновь принялась за работу — через год новое раскулачивание, а попросту — грабёж: погрузили все барахло, вплоть до глиняных чашек, на подводу, и развезли по домам активистов. И опять юная графиня не дала мужу пасть духом. Встали на ноги снова, и еще через год — третье раскулачивание. Муж сказал: "Все, хватит! Надо уходить в тайгу". К этому моменту они были, кажется, уже последними упрямыми в деревне, не вступившими в колхоз.

Они поселились на таежной заимке, далеко от людских глаз. Вдвоем (!) раскорчевали поле, сеяли хлеб, растили сыновей — мать учила их непозабывому французскому языку и всему остальному, чему успела выучиться за первые 14 лет своей жизни.

Потом, когда семья с подростками перебралась в город, Людиной бабушке довелось еще совершить трехлетнюю экскурсию по лагерям — ей дали этот детский по тем временам срок за крохотный кусочек сала, который она то ли на самом деле несла из столовой, где работала, своим детям, то ли этот кусочек ей подкинули — Бог весть. Она пережила и это, и в старости еще воспитывала своих внуков, Люду и Нину. Маленькая, седая, аристократичная старушка обучала девочек хорошим манерам, рассказывала им о Петербурге так, словно вчера покинула его — сама она так и не смогла больше даже съездить посмотреть свой родной город. Девочки

так и выросли в сознании того, что их родина — не Красноярский край, а Петербург. Люда говорила, что когда она 17-летней девушкой приехала в Ленинград, то почувствовала себя наконец-то вернувшейся домой.

Похоже, кровь бабушки перелилась в Люду, минуя всякие примеси. Она ела перловую кашу из мятой алюминиевой миски с каким-то необыкновенным, невозможным в таких условиях изяществом. Ее нимало не смущала убогость обстановки камеры; заключение она переносила с поразительным спокойствием. Почему-то я считала, что человек, до ареста носивший в каждом ушке по бриллианту стоимостью с одну "Волгу", в тюрьме должен быть и грызть зубами стены. Люда, едва очутившись в камере после ареста, принялась вычерчивать план коридоров и лестниц, по которым ее вели. Она испытывала дискомфорт, не зная своего географического положения. Этот короткий эпизод был для меня настоящим потрясением: сама я лишь на третий день научилась поворачивать в нужную сторону по дороге на допрос. Когда я рассказывала Люде, как плохо мне было здесь первые дни, она недоумевающе пожала плечами: "Ну что же тебе здесь так не понравилось? Водичка течет, туалет есть, койка есть. Что ты рассчитывала тут увидеть? Ты ведь знала, что тебя могут арестовать в любой момент". Мне оставалось только устыдиться собственного малодушия.

К своему величайшему изумлению я узнала, что романсы, которым я с таким наслаждением внимала в первые свои прогулки, и предназначались для меня. Люда умела по звукам в коридоре определять, когда в тюрьму привели новенького, а в тот раз она услышала стук женских каблучков и захотела немножко поднять настроение незнакомой девочке.

Во время одного из первых допросов следователь имел наглость

сказать Люде, что она обязана вставать, когда в кабинет, заходят другие сотрудники КГБ. Она сказала:

- Вообще-то я слышала, что это мужчины должны вставать, когда в помещение входит женщина.

- Но вы же подследственная, а они - сотрудники КГБ.

Люда молча поднялась и встала у стенки.

- Ну что вы, сядьте, сейчас ведь здесь никого нет, кроме нам.

- Нет, я буду стоять на допросах. Мне это удобнее, чем вставать, когда заходят ваши сотрудники.

- Но вы же устанете, садитесь.

- Нет, я больше не сяду.

Она так и простояла у стенки весь допрос - что-то около восьми часов, и вернулась в камеру с отеками ног - она тогда болела. На следующий день следователь сказал, что ей не нужно вставать, когда кто-либо заходит в кабинет. Лишь после этого она согласилась сесть.

Но что меня поражало в Люде больше всего - это даже не ее аристократизм, светящийся в каждом слове и жесте, а то, что я мысленно про себя окрестила "суперменством" - необыкновенное количество ее профессий и навыков и оживленная готовность в любую минуту учиться всему новому. По профессии она была геологом - окончила Геологический институт. Кроме этого она играла на пианино и чудесно пела - у нее был профессионально поставленный голос. Еще она отлично шила, водила машину как настоящий гонщик, разбиралась в картинах, иконах и ювелирных изделиях не хуже искусствоведа, немного говорила по-английски и усердно занималась в камере немецким языком. Чтобы спастись от камерных прослушек, я научила Люду азбуке немых - буква в ней обозначается движением пальцев и губ. Она освоила эту азбуку с такой скоростью, что уже через пару

дней мы могли беззвучно беседовать с ней со скоростью медленной речи.

Однажды я выразила восхищение по поводу многочисленности ее талантов. Она улыбнулась:

— Это у меня от бабушки. Так ведь раньше и воспитывали дворянских детей — они владели многими профессиями и любили работу. Ты думаешь, моя бабушка могла бы выдержать все, что свалилось на нее там, в Сибири, если бы не была настоящей аристократкой?

Для меня началась невероятная жизнь, подобная фантасмагории. Вначале мы просто спали: от звонка подъема до прогулки, от прогулки до обеда, от обеда до ужина и еще час-другой перед самым подъемом. Это продолжалось дней десять, пока мы обе не отоспались за все предыдущие бессонные ночи. Протирая глаза во время подъема, мы улыбались друг другу: "Зек спит, а срок идет". Потом мы устыдились своей лени и установили в нашей камере невероятный режим. (Впрочем, невероятным он был только для наших стражей — нас с Людой он вполне устраивал).

Шесть утра. Мы просыпаемся от резкого звонка, точнее, не совсем просыпаемся, а в полусне с закрытыми глазами мгновенно заправляем постели и вновь обрушиваемся спать — уже укрывшись пальто. Открывается кормушка — я высовываю туда наши две кружки, и дежурный насыпает в каждую по столовой ложке сахара. Бог весть, зачем мы получаем этот сахар — у каждой в тумбочке стоит по килограммовому пакету, купленному в отоварке. Но нами уже владеет зековская психология: начальник дает — бери. Мы спим еще минут 15, потом кормушка открывается снова — нам предлагается нарезать продукты. На этот раз к кормушке подскакивает Люда и заплетающимся со сна языком упрямивает дежурного нарезать сыр, сало или колбасу как можно тоньше — она не может есть толстые ломти и

несколько раз отдавала мне сало, потому что оно было неаккуратно нарезано. В семь утра по коридору громыкает тележка — привезли завтрак. Я получаю кашу и чай и начинаю уговаривать Люду.

— Люда, вставай, завтрак привезли.

— Какая каша? — сквозь сон спрашивает она.

Люда ест только рис или гречку — этим дефицитом нас здесь изредка кормят.

— Люда, ну проснись, чай остынет.

— Будь добра, положи лимончик.

— Уже положила.

— Сахар помешай, пожалуйста, — по-прежнему не открывая глаз, просит Люда. / Я мешаю.

Наконец Люда приподнимается на локте и мы быстро едим, чтобы успеть выгадать еще 10–15 минут сна до прогулки.

Зима 1982–83 года была удивительно теплой. С черного неба — оно казалось еще черней из-за прожекторов, бьющих нам в лица, — летел крупный снег, ложился на сетку, затягивающую дворик сверху, а на следующий день наступала оттепель — и все таяло. Люда смеялась: "Наверное, это твои приятели-антисоветчики из Мюнхена поставили мощный фен около самой финской границы и гонят сюда теплый ветер".

Едва придя во дворик, я пела позывные "Радио Ерушалаим", из соседнего дворика мне подпевал мужской голос. Там сидел Людин знакомый — Лазарь. Иногда, если попадался хороший дежурный на вышке, мы переговаривались с ним, он уже знал, по какой статье и за что я сижу, как идет следствие. Одним из первых его вопросов было: "Вы были в этом году в синагоге на празднике Симхат-Тора?" Я ответила, что была, он очень обрадовался.

Час прогулки пролетал, как десять минут. Мы раскатали ледяную

дорожку во всю длину дворика — одиннадцать шагов, и с девчоночьим визгом, сбросив пальто, в одних свитерах гонялись по ней, выделывая разнообразные пируэты. Однако эти бурные восторги были не по душе нашим стражам, и после нескольких предупреждений каток засыпали песком с солью. Раскатать новый нам уже не удалось — началась оттепель. Тогда мы перешли на другие упражнения: бег, прыжки, приседания. На основное время прогулки мы пели — дуэтом и поодиночке. Лишь некоторые особо злобные прапора запрещали нам петь — большинство смотрело сквозь пальцы на это нарушение режима, а кое-кто даже просил нас или мужчин из противоположного дворика: "Эй, начальники, спойте". Люда любила петь русские романсы, я — песни Окуджавы. Иногда до нас доносились отдаленные аплодисменты и просьбы: "Девочки, еще!" Особенно нравилась нашим слушателям песня Окуджавы из "Звезды пленительного счастья", и едва мы заходили во дворик; с разных сторон приглушенно долетало: "Кавалергарда! Кавалергарда..." Мы пели, и, думаю, сама Мария Каллас не имела таких благодарных слушателей, не получала от своего пения такой радости, как я.

Еще мы старались как можно больше смеяться во время прогулки, чтобы соседи-мужчины слышали наш смех. Это было нетрудно: мы наслаждались свежим прохладным воздухом, пушистым снегом, и настроение у нас было такое, что смеяться хотелось по любому поводу. Вернувшись в камеру, мы падали на койку и засыпали, как убитые, так что очень часто просыпали и громыхание тележки, везущей обед, и нас будил настойчивый голос дежурного: "Миски давайте! Вот сейчас обед проспите!".

Кормили нас весьма неплохо. Во всяком случае, тюремные обеды не шли ни в какое сравнение со страшной в обычных совдеповских

столовках. Говорят, на питание заключенного отпускается 37 (до чего же они любят эту цифру) копеек в день. Если считать правдой, то, надо полагать, торговые организации, отпускающие продукты в Большой дом, отвешивают продукты с изрядным походом — или что повар докладывает в котел свои деньги. На первое нам давали суп: шесть раз в неделю мясной, один — рыбный, и супы эти отнюдь не утомляли однообразием. Но, особенно первое время, удивляло меня второе: кусочек вареного мяса, рубленный бифтекс размером с полладони без всяких следов хлеба, рыба вареная или жареная, с луком или томатным соусом, макароны по-флотски, жаркое. На гарнир, кроме картошки, обычно давали еще кусочек соленого огурчика, немного квашеной капусты или пол-луковички. Чувствовалось, что вся еда приготовлена с любовью: с доброй мыслью о тех, кому она предназначена. Когда впервые в протянутой мне миске я обнаружила кусок жареной печенки, то не сразу взяла миску, думая, что произошла какая-то ошибка. Дежурный засмеялся, сказал: "Берите, берите, это ваше", — и захлопнул кормушку. Последний раз я пробовала этот деликатес года 3 назад. Позже я узнала от Вики, что тюрьма заключила договор с мясокомбинатом на прямую поставку продуктов. Уверена: если бы печенка должна была поступить в детский сад или больницу, она по дороге непременно ушла бы куда-нибудь в сторону. А грозный Комитет прикрыл своей сенью, даже нас, своих невольных гостей.

Время после обеда для нас было спрессовано до секунд: мы занимались языками или читали. Наша восхитительная библиотека приводила меня в тоску, когда я думала, как мало времени мне отпущено на пользование этим благом. Последние пару лет на свободе я читала почти исключительно самиздат и тамиздат, непрерывным потоком проходивший через мои руки. Солженицын, Войнович, Авторханов, Зиновьев, Бродский — я читала до 5-6 утра, портила глаза слепыми

машинописными копиями и мельчайшим шрифтом глянцевых фотокопий. Когда уж тут было читать Шекспира или Бальзака... Да и темп жизни, которую я тогда вела, мало способствовал чтению классики — гораздо больше ему соответствовал телеграфный стиль "Хроники текущих событий". На одном из первых допросов Качкин с усмешкой посоветовал мне: "Вы обязательно пользуйтесь нашей библиотекой. А то ведь, наверное, уже забыли, когда держали в руках книгу, напечатанную не в "Посеве".

Тюремная жизнь, с ее тишиной, отсутствием внешних раздражителей, строгим и простым бытом была словно специально создана для чтения классики. Я читала и перечитывала все подряд: Достоевского, Шекспира, Шиллера, Мережковского, Сервантеса. Я уже поняла, что читать здесь нужно даже те вещи, которые на свободе знал чуть ли не наизусть. Может быть, виной тому были религиозные переживания, испытываемые мной, может, резко изменившийся стиль жизни, но мне все книги, даже любимый с детства "Дон-Кихот", стали казаться намного интереснее и значительнее. Разница между прочтением на свободе и здесь была такая же, как между поверхностным взглядом на помещение, в которое зашел зачем-то на несколько минут, и жизнью в этом помещении. Все вещи как будто те же и все стоит на тех же местах, но как резко они отличаются, когда живешь срединних, знаешь каждую царапинку на столе, каждое пятнышко на обивке кресла...

С не меньшей, чем стение, страстью мы занимались языками. Люда занималась немецким по учебнику, взятому в библиотеке, учила слова по карточкам, а я, к своему большому удивлению, обнаруживала, что помню очень много слов на идише и что, оказывается, идиш похож на немецкий еще больше, чем я предполагала.

В моей тумбочке тоже лежали уже несколько сотен карточек

английском, и я перебирала их, гуляя взад-вперед по камере. Но гораздо больше мне нравилось просто читать английские книги. Подлинники были мне недоступны, лазанье по словарю занимало больше времени, чем само чтение, а время было дорого, поэтому я брала адаптированные книжки. Их я читала без словаря: закончив "Остров сокровищ", принялась за "Овода", после "Овода" — за "Большие надежды" Диккенса, и на этом мои лингвистические упражнения были прерваны этапом. Очень часто мы с Людой, чтобы позлить наших стражей, подолгу говорили по-английски. В это время глаз в железной оправе почти не исчезал из нашей двери, а металлический диск, закрывающий глазок, шуршал как-то особенно сердито.

Совершенно неожиданно у нас нашлось новое развлечение: чтение "Правды". На свободе мне бы и в голову не пришло получать информацию из такого источника. Но вдруг оказалось, что и "Правда" может немало дать человеку, привыкшему разбираться в глубоко марксистическом ее языке. Мы читали газету по очереди вслух, богато уснащая чтение собственными комментариями, зачастую совершенно нецензурного содержания. Чтение это сопровождалось такими взрывами хохота, что наши стражи по нескольку раз заглядывали в кормушку, прося нас смеяться потише, раз уж нам так весело. Представляю, какое зрелище являли мы собой — две женщины в тюремной камере, покатывающиеся со смеху над передовицей "Правды". Одна-две статьи в каждом номере обязательно касались разоблачения какой-нибудь "утки" западной пропаганды и гневной отповеди клеветникам представителями трудового народа. Таким образом нам удавалось узнать, где и как именно Советы в очередной раз сели в дужу. Но особое удовольствие доставляли нам корреспонденции из Польши и Афганистана. За их бравым победным тоном так потешно и жалко торчали ослиные уши полной растерянности, беспомощности, бессилья...

Читая эти заметки, я каждый раз вспоминала мой любимый анекдот о человеке, вызванном в Большой дом. Ему там сказали: "Вот вы всюду распространяете клевету на Советскую власть, говорите, у нас в стране нет ни продуктов, ни одежды, ни лекарств. В прежние времена мы бы вас за это расстреляли, но сейчас мы вас предупреждаем и отпускаем домой". Человек прибежал к своим друзьям и с порога закричал: "У них и патронов-то нет!"

После ужина мы еще немного читали, гуляли по очереди по камере (вдвоем было не разойтись в узком проходе), делали гимнастику, пели — если был хороший дежурный. Звенел отбой, и вот тут начиналось самое замечательное время. Мы заранее ставили в проход между койками две табуретки, покрывали их кусками полиэтилена и сервировали ужин: бутерброды, печенье, леденцы, дольки апельсинов и лимонов. Чайник с кипятком — его нам выдавали на ужин — мы заботливо закутывали всеми имеющимися в камере шерстяными вещами, и вода оставалась горячей до самого утра.

Это было классическое времяпровождение диссидентских и околодиссидентских, интеллигентских и околоинтеллигентских кругов: всенощное чаепитие (чай нам заменяла сладкая вода с сушеной апельсиновой корочкой) и неумолчный разговор обо всем на свете. Мы говорили о политике, о моде, о знакомых, друзьях, мужьях — Аркаша уже четыре года сидел на 37-ой Пермской зоне, а Людлин муж Юра был арестован вместе с ней, и она, проходя мимо его камеры, каждый раз приветствовала его громким стуком каблучков и покашливанием. Сидеть на койках после отбоя не разрешалось, поэтому мы возлежали за нашими ночными трапезами, отчего они приобретали некоторый налет античности.

Первое время дежурные пытались бороться с нашим режимом, угаривали нас кончать разговоры и укладываться спать. Но мы возму-

щались в ответ так шумно и занудно, что нас быстро оставили в покое. И только дядя Сережа, как мы его звали, самый пожилой и самый добродушный прапорщик, время от времени открывал кормушку и постукивал по ее краю пухлым коротеньким пальцем: "А ну, девки, кончайте болтать! Ну-ка, бросайте сигареты, легли на бочок и глазки закрыли. А то завтра спать не дам, на допрос вызову - там, что ли, спать будете?"

Вопрос этот был отнюдь не шуткой добрейшего дяди Сережи. Однажды Качкин вызвал меня на допрос часов в 10, то есть в то время, когда я спала особенно сладко. Может быть, это мне показалось спросонья, но допрос в тот день был особенно нуден. Я таращила глаза, трясла головой, щипала себя за руку - сон по-прежнему обволакивал меня нежной, мягкой пеленой, и голос Качкина доносился сквозь эту пелену, как сквозь ватное одеяло. Изнемогши от бесплодной борьбы, я плотнее закуталась в пальто и заснула под тихий, монотонный монолог Качкина.

- Ирина Залмановна, Ирина Залмановна! Что с вами? Да вы, кажется, спите?! Я вам третий раз уже вопрос задаю!

Я встряхнулась, открыла глаза. Качкин был возмущен не на шутку. Мне стало неловно. В самом деле, ведь хамство - засыпать, когда с тобой разговаривает человек.

- Извините меня, пожалуйста, Владимир Александрович.

- Вы во сколько сегодня спать легли?

- Около пяти.

- Та-ак... А ночью что же вы делали? Читали под одеялом?

- Ну, в наших апартаментах такое освещение, что и над одеялом после 2 часов чтения крестики в глазах начинают скакать.

- Так чем же вы занимались?

- Чай пила, разговаривала с соседкой.

Качкин усмехнулся.

- Вы и у нас умудряетесь вести прежний образ жизни. Ну что же, придется отпустить вас в камеру. Вызову, когда выспитесь, а то будете потом рассказывать, как мы вас бессонницей пытали.

- Думаете, раз на меня такую статью повесили, то я и в самом деле клеветница? Давайте продолжать допрос, я больше спать не буду.

Больше Качкин не вызывал меня на допросы по утрам. То ли его действительно испугала моя грядущая клевета, то ли просто ему было невыносимо видеть подследственную, мирно спящую на допросе.

Но вообще-то Качкин не баловал меня чрезмерным вниманием. Каждый вечер мы с Людой вспоминали другой наш дежурный анекдот: о вооруженном до зубов Неуловимом Джо, которого никто не мог поймать, потому что он никому не был нужен. С тех пор, как Качкин перестал быть для меня отдушиной в общении с Викой, я сочла пребывание на допросе потерянным временем и прекратила свою пустопорожнюю болтовню. Качкинское и без того не слишком богатое красноречие окончательно иссякло. Следствие чахло, словно здоровенный куст лопуха, высаженный в пустыне бездарным садовником.

Зато тем более бурно шла наша камерная жизнь.

Я не замечала бега времени не только из-за отсутствия часов в камере, но и потому, что время, еще месяц назад мучившее меня необходимостью как-то убить его, вдруг разогналось и понеслось вскачь. Незаметно я обнаружила, что живу в уже привычном мне цейтноте, и каждый вечер перед отбоем вздыхаю о том, как много не успела сделать за день. Следующим открытием было то, что время способно заменить пространство. Я удивлялась, как это прежде камера казалась мне такой маленькой. Она вмещала в себя так много дел, мыслей, разговоров - и мне казалось, что когда я стою

посреди камеры с разведенными в стороны ладонями, стены раздвигаются. Чувство полноты и радости жизни изумляло и волновало меня; я испытывала острое, ни на минуту не уходящее наслаждение безграничной властью над ситуацией, которая, по всей логике, должна была властвовать мной. Меня так долго пугали этой тюрьмой, и вот всего месяц, как я здесь, а я уже чувствую себя ничуть не более несчастной, чем на свободе. Чем вы будете пугать меня теперь? Зоной? Но теперь я ~~я~~ уже точно знаю, что смогу привыкнуть к любым условиям, это будет вопросом только лишь времени. Чего же стоит всё это государство с его кодексами, следователями, камерами и охранниками, если оно не может заставить одного-единственного человека не то что сделать что-то против его воли, но даже просто — почувствовать себя несчастным! Его пожалеть впору, как неуклюжего динозавра с мощным туловищем, увенчанным крохотным кретинским мозгом.

Я вращалась в тюрьму, сживалась с ней, она становилась моим домом. Мне был понятен любой еле слышимый звук в коридоре, я различала шаги дежурного, подходящего к нашей двери по мягкой ковровой дорожке. Мы с Людой в любой момент достаточно точно знали, сколько заключенных находится в тюрьме, когда кого-то увезли на этап, вызвали на допрос, перевели из камеры в камеру, когда в тюрьму привезли новенького. В такие дни мы пели с особым воодушевлением, чтобы наши голоса долетали до него, где бы он ни находился: в камере ли, или в противоположном прогулочном дворике.

Я уже с некоторым недоумением вспоминала свою жизнь на свободе. К чему было нужно это изобилие пространства и вещей? Разве что для траты драгоценного времени, которого мне так всегда не хватало. Есть койка, табуретка, тумбочка, есть кран с чистой

холодной водой и пространство в пять шагов от двери до окна — разве этого недостаточно?

Само воспоминание о свободе было поводом уже не для отчаяния, не для тоски, а всего лишь для легкой элегической грусти. Так можно грустить о далеких экзотических странах, которые, конечно же, очень хотелось бы посмотреть, но раз туда нет билетов — что ж, ничего страшного, можно прожить и без них.

Лишь во сне та, прежняя жизнь не давала мне покоя. Где-то у Грина есть слова: "Остров был прекрасен, как сон узника о свободе". Я успела повидать в своей жизни множество красивых мест, я жила в одном из красивейших городов мира, но никогда мне не приходилось видеть ничего более восхитительного, чем те тюремные сны. Все краски в них были ослепительно яркими и чистыми; мало того, я чувствовала даже запахи! Это было более похоже на грезы наяву: я видела блистающий золотом грандиозный купол Исаакия; Эрмитаж вставал в голубой дымке, сам весь голубой, словно источающий лунный свет. Я шла по сумрачному, темно-зеленому лесу, вдыхала запахи хвои и грибов, а впереди, за кронами высоких деревьев, угадывалось море, я слышала его торжественный гул и торопилась к нему. А еще я гуляла по цветущему саду в Молдавии; по сторонам белой, нагретой солнцем дороги цвели магнолии, осыпанные огромными яркими цветами. Я обнимала эти ветки, зарывалась в них лицом и чувствовала, как у меня кружится голова и слабеют ноги от пьяного, сладкого, дурманящего, как вино, запаха. Но самым интересным было то, что тюрьма неизменно присутствовала во всех моих снах. Сюжет их всегда строился одинаково; словно у меня в голове крутили бесконечное индийское кино. Меня арестовывали, а потом отпускали под честное слово на несколько часов или на день. И во время этих прогулок я все время смотрела на часы,

зная, что скоро мне нужно возвращаться в тюрьму. Иногда оказывалось, что я опаздываю, и тогда я бежала, обливаясь потом и с трудом отрывая ноги от земли, — я знала, что если не вернусь вовремя, произойдет что-то очень страшное. Но странно: необходимость возвращения не очень огорчала меня даже во сне, я была рада принимать все — и восхождение по гранитным ступеням Исаакиевского собора, и прогулку в лесу, и запах цветущих магнолий, и распахивающиеся передо мной тюремные ворота.

Ощущение собственной силы было так велико во мне, что я даже не очень удивилась, обнаружив у себя совершенно неожиданные способности. Произошло это так. Люду мучили приступы страшной головной боли — они начались после воспаления легких, которым она заболела сразу после ареста. Болезнь она перенесла на ногах, выживая ежедневные допросы с температурой, от которой у нее мутилось в глазах. Я спросила, почему она не обратилась к тюремному врачу — мне всяких сомнений, он назначил бы ей постельный режим. Люда ответила: "Пусть они знают, что я могу вести следствие так, как мне нужно, в любом состоянии". Вскоре ей пришлось доказывать это вновь. Однажды перед обедом кормушка распахнулась, и прапорщик, попросив Людину миску, налил в нее супа. Люда сидела тогда вдвоем с Ритой Климовой и, естественно, она спросила, почему суп дали ей одной.

— Потому что сейчас вас выхвот на допрос. Ешьте быстрее.

Удивляясь столь неожиданной новинке тюремного сервиса, Люда съела несколько ложек и стала собираться на допрос. Но никто не торопился ее вызывать. Уже прогромыкала по коридору тележка с обедом для всех заключенных, уже Рита получила и успела доесть свою порцию, когда Люду наконец вызвали. Она спускалась по лестнице, когда на нее обрушилась такая головная боль, о которой она

не имела понятия во всю свою прошлую жизнь. Ослепленная и оглохшая, она еле дошла до кабинета следователя. Он внимательно посмотрел ей в лицо.

— Что с вами, Людмила Н , вы такая бледная. Может быть, вы плохо себя чувствуете, и мне не стоит допрашивать вас?

Люда ответила, что чувствует себя нормально, и допрос можно начинать. Она сидела перед следователем, выслушивала его вопросы, что-то на них отвечала, а боль усиливалась, хотя усиливаться ей, кажется, было уже некуда. И еще несколько раз следователь Аксаков спрашивал о ее самочувствии, и она вновь отвечала, что она вполне здорова. Она уже успела сопоставить персональную выдачу супа и участливый тон следователя с внезапностью и нестерпимостью боли.

Как ни странно, эта история утвердила меня в уверенности, что отравления бояться не стоит. Уж ради Людиного дела с его фантастическими суммами они расстарались, нажимичили все, что смогли. А что в результате? Головная боль. Но ее можно добиться гораздо проще и дешевле: стукнуть человека головой об стенку. Нет, не для того Господь создавал наши бессмертные души, чтобы какая-то нечисть влезала в них с крохотной отверточкой и переналаживала их на свой вкус...

После таких экспериментов Людино здоровье заметно пошло на убыль. Уже почти каждый день она лежала на койке с головой, туго стянутой полотенцем, и молча смотрела в стенку мутными от боли глазами. Ждать помощи от нашего тюремного эскулапа, жуткого пропойцы с мясистым, синим, как баклажан, носом, не приходилось. Я с тоской смотрела на Люду. Если бы она хоть жаловалась, мне было бы легче. Но смотреть на ее молчаливые мучения было выше моих сил. И вдруг однажды я вспомнила Людин рассказ о том,

как ее вылечил некий экстрасенс.

- Люда, развяжи полотенце и садись на табуретку. Сейчас я сниму твою боль, - набравшись храбрости, сказала я.

- А ты умеешь?

- Умею.

Это было неправдой. Я лишь слышала входившие тогда в моду разговоры об экстрасенсах, о чудесных излечениях и таинственной передаче энергии от одного человека к другому. Но я была уверена: раз такая передача в принципе возможна, я непременно смогу передать Люде энергию, переполняющую меня через край. Я нахожусь сейчас в лучшем своем состоянии, и я так страстно хочу помочь ей - неужели это может пропасть в никуда?!

Сосредоточившись изо всех сил, я представила светящиеся лучики энергии, исходящей из моих ладоней. "Сейчас получится, все обязательно получится, иначе не может быть!" - страстно твердила я себе, проводя руками над пушистой каштановой головкой. И вдруг я ощутила легкое, едва уловимое жжение в кончиках пальцев. Оно становилось явственней с каждой минутой, к нему добавилась головная боль - заныли виски и затылок. Я уже явно чувствовала, что между мной и Людой происходит какой-то контакт, который я не могу обозначить ни одним известным мне словом. Это мгновение должно было наступить, я ждала его, но все же оно потрясло меня, как поражает любое чудо.

Люда обернулась, ее лицо было все еще бледно, но не так мертво-неподвижно, как прежде.

- Ира, мне уже лучше. Гораздо лучше!

- Я знаю, - радуясь и волнуясь, ответила я. - Посиди спокойно, сейчас еще попробуем.

Чудо как-то незаметно превратилось в деталь нашего полуфантастического тюремного быта. Примерно через неделю приступы прекратились, но время от времени она просила: "Ира, подзаряди меня, пожалуйста". Я уже сама ощущала потребность испытать это вновь.

Вскоре мы выяснили, что наш контакт существует уже сам по себе, и к тому же предъявляет к нам определенные требования. Однажды мы с Людой разругались — без всякой особой причины, просто потому, что не могут не поссориться два человека, принужденные жить на глазах друг друга. Половину ночи мы провели в дурацких склоках, стараясь уязвить друг друга побольнее, а под утро попытались заснуть. Но сон бежал от нас. Я смотрела, как мечется и стонет в полубреду Люда, и сама изнемогала от тяжелой, сосущей боли в сердце. Резкий звонок подъема подбросил нас на койках, мы уставились друг на друга и... расхохотались. Обе мы были страшны, как две ведьмы после шабаша: лица посерели, глаза провалились, и под ними набрякли мешки.

— Да-а, похоже, нам теперь нельзя ссориться... — протянула Люда.

Трепали звонки подъема и отбоя, отсчитывая дни наших еще не известных сроков. Трудно было представить людей более непохожих, чем мы с Людой, но в одном мы сходились, как сестры, — в самом главном для нас теперь. Обе мы были настолько счастливы своей жизнью на свободе, что были готовы платить за нее сейчас любую цену. И вдруг оказалось, что эта спокойная готовность напрочь лишила само заключение его основного смысла — наказания. Мы были веселы и игривы, как котята, и любой предмет, начиная от газеты "Правда" и кончая прогулкой, представлялся нам источником развлечения. Одним из объектов наших вылазок стали дежурные пра-

порщики. Мы вызывали их звонком, чтобы узнать, какая сейчас погода на улице и который час — мы торопились на важное свидание. Просили к обеду шампанское, желательно полусухое, и непременно со льдом. Одни со злостью захлопывали кормушку, у других хватало ума и чувства юмора подыгрывать нам — им ведь тоже, беднягам, было так скучно таскаться взад-вперед по мрачному коридору мимо одних и тех же камер. Один из прапорщиков, зная нашу любовь к буффонадам, любил при нашем возвращении с прогулки встать у дверей нашей камеры, набывшись, широко расставив ноги и придерживая у бедра воображаемый автомат. Мы брали руки за спину (обычно этого от женщин не требовали) и, гордо вскинув головы, проходили мимо него с торжественным видом идущих на эшафот. Этот маленький бессловесный спектакль развлекал всех нас троих необычайно.

Мы уже знали всех охранников по характерам и знали, что при ком можно себе позволить. Самый лучший, конечно, — дядя Сережа, ему было откровенно наплевать на все режимные строгости. Это он всячески пытался приободрить меня, когда я сидела после ареста в одиночке. При нем мы могли петь и смеяться во все горло, без конца выпрашивать иголку и нитки, и даже смотреться, как в зеркало, в открытую форточку, подложив под нее книгу в темной обложке, — это был строжайший криминал, так как для этого приходилось вставать на табуретку у самого окна. Мы охотно прощали дяде Сереже то, что не простили бы никому другому: его обращение "а ну-ка, девки" и простецкое тыканье. Довольно симпатичны были Гулливер, Мишка, Грач — они тоже не изводили ни себя, ни нас скрупулезным соблюдением всех маразматических правил. Зато все остальные — Борман, Сережка, мрачный тощий Ворон с лицом религиозного фанатика, корстышка Карлсон, предпочитавший военной форме попугайские пиджаки, штилеты и шариковские галстуки, и многие, многие другие —

все они каждым жестом пытались подчеркнуть, какую важную секретную миссию выполняют, и сколь необходимо для безопасности государства, чтобы эта миссия была исполнена точно в соответствии с предписаниями. Но хуже всех был Геббельс — немолодой чернявый человек, припадающий на одну ногу. Если все остальные хотя бы делали вид, что заняты важной работой, то он и в самом деле верил в это. Даже обычную раздачу каши, супа и/или чая он умудрялся превратить в некое священнодействие, в служение богу Инструкции. Он отказывался ставить кружки с кипятком на табуретку, которую мы подносили к самому краю кормушки, и требовал, чтобы мы брали кружки прямо руками, обжигаясь, хотя сделать это, не расплескивая кипятком себе на ноги, было невозможно. Когда я обожглась так первый раз, то закричала на него: "Вы что же, боитесь руку просунуть в камеру на пять сантиметров? Я не кусаюсь, честное слово!" Он пробурчал в ответ: "Это не положено", — и захлопнул кормушку. Несколько раз мы с Людой принимались петь в камере, не зная о том, что на дежурство заступал Геббельс. Он мгновенно подскакивал к кормушке, востренькое его личико, обычно синее от бритья, становилось багровым, и, заикаясь от возмущения, он кричал: "Прекратите это безобразие! Петь нельзя! Нельзя!". Он воспринимал такое чудовищное нарушение режима как личное оскорбление. "А петь можно?" — хором спрашивали мы его и, не дожидаясь ответа, принимались громко выть. Кормушка вновь открывалась: "Прекратите!" Мы отвечали: "Ну вот уж плакать нам как раз положено. Смеяться, может, и нельзя, петь тоже, а плакать можно". — "Так вы же орете". — "Нет, мы не орем. Это у нас такой русско-еврейский плач об утраченной свободе". Махнув рукой на этих наглых девок, Геббельс удалялся, и мы слышали его прихрамывающие шаги. Как-то

мы умудрились довести Геббельса до белого каления, причем без всякого злого умысла с нашей стороны. Уже прозвенел отбой, Люда сидела в постели, облаченная в белую мужскую рубашу. Это было одной из трогательных деталей тюремного сервиса: каждую пятницу после бани нам выдавали, кроме постельного белья, еще мужское исподнее: рубашу и кальсоны немислимых размеров с жирными штемпелями на всех возможных местах: "СИЗО КГБ". Обычно мы использовали эти рубахи вместо ночных сорочек. Я, в таком же одеянии; плескалась около раковины, завершая свой туалет, когда меня оглушил людий визг. Она сидела на койке, поджав под себя ноги, и с выражением дикого ужаса на лице тыкала пальцем под мою койку. Я заглянула туда и... через секунду обнаружила себя сидящей рядом с Людой и визжащей таким же дурным голосом. Под мою кровать ползло какое-то серое, довольно крупное насекомое, должно быть, паук. В тот же миг кормушка с грохотом распахнулась, и Геббельс, заикающийся настолько, что его еле можно было понять, заорал:

— Это что такое за безобразие?!

Мы закричали хором, наперебой, перемежая свои объяснения все тем же паническим визгом:

— Вон там! Там паук ползет! Мы боимся! Зайдите в камеру и сейчас же прогоните его!

Естественно, Геббельс принял это за наше очередное издевательство. Особенно его возмутило, по-видимому, то, что мы приурочили нашу шутку к такому ответственному моменту, как погружение СИЗО КГБ в тишину отбоя. Рывкнув что-то нечленораздельное, он захлопнул кормушку. Мы, увидев, что нас бросили в камере одних в обществе паука, завопили еще громче. Геббельс явился немедленно и, кажется, понял по нашим лицам, что мы действительно всерьез напуганы. Завязалась склока. Геббельс требовал, чтобы

я немедленно ложилась в свою койку, а мы — чтобы он вошел в камеру и поймал напугавшее нас насекомое. Страсти стихли лишь после того, как мы поняли, что паук, перепуганный нашими воплями, сидит в самом темном углу и вряд ли рискнет объявиться снова.

Когда мы, уже почти успокоившись, лежали на койках и курили, Люда неожиданно засмеялась.

— Ты о чем?

— Я подумала: дурак твой Качкин, возится с тобой уже почти 2 месяца, и никакого толка. А показания от тебя получить, оказывается, можно так просто...

Но в общем наши стражи относились к нам доброжелательно. Горячей воды нам обычно наливали полный чайник — у нас почти каждый день была или небольшая стирка, или мытье головы. Если после раздачи обеда оставалось что-нибудь вкусенькое — жаркое, винегрет, кусочки мяса или рыбы, — эту добавку несли нам. Однажды после обеда Гулливер необычным для него тоном рявкнул в кормушку: "Миску давайте!" Я просунула миску в коридор и едва не выронила ее: в нее с силой плюхалось что-то увесистое. "Держите крепче!". Когда я осторожно втянула миску обратно в камеру, мы ахнули: целой горой в ней лежали шесть рубленых бифтексов с луком. За дверью слышалось гулливерово хихиканье.

Тот же Гулливер однажды изумил меня до головокружения. Это было в один из первых дней ранней, теплой весны. Голуби наполняли звучным, страстным воркованием весь двор, синева резко поднявшегося ввысь весеннего неба ярко контрастировала с залитой солнцем охряной стеной тюрьмы. Мы с Людой чувствовали себя слегка опьяневшими, расслабленными от этого воздуха, света, голубей, и когда Гулливер не торопясь провожал нас от прогулочного дворика к двери тюрьмы, я, жмурясь на ослепительно яркую стену, сказала:

- В такую погоду даже тюрьма кажется прекрасной.

- Наша тюрьма прекрасна в любую погоду, - улыбаясь, ответил Гулливер.

Мы с Людой резко обернулись на него, и я замерла - пораженная? оглушенная? ОН НЕ ШУТИЛ! Он сказал это всерьез: "Наша тюрьма прекрасна в любую погоду". Он смотрел на охранную стену, изуродованную крошечными окошками с "намордниками", с нежностью и любовью.

- Вам ведь нравится здесь у нас? - спросил меня Гулливер.

- Нравится, - улыбнулась я.

- Ну конечно! В какой другой тюрьме вы такое найдете?!

С того случая я стала приглядываться к нашим прапорщикам с большим любопытством, и скоро обнаружила, что все они, как и Гулливер, гордятся местом своей службы - редчайшее для советского человека свойство. Это была такая высокая честь - работать в тюрьме, где сидит не всякая пьянь и дрянь, а благородные люди - диссиденты, контрабандисты, валютчики, богатейшие и известнейшие люди города и страны. Стоило любому прапорщику включить вечером приемник, и сквозь вой глушилок он неизбежно слышал одну-две фамилии из тех, что были записаны в журнале, лежащем на его посту. И содержали они таких людей не абы как, а тоже по-благородному: чистота, тишина, хорошая еда, ежедневно - свежие газеты (как же им без новостей?), каждый четверг - библиотека (да еще какая!), каждую пятницу - душ и смена постельного белья. Все как в приличном санатории (они так часто и называли тюрьму - "наш санаторий", а от них это название перешло к нам). Это вам не бордель через Неву напротив, именуемый "Крестами", где в битком набитых провонявших тухлой селедкой камерах зеки педерастят друг дружку, где связаться с поделником, сидящим на другом эта-

же, так же просто, как в городе позвонить своему приятелю по телефону.

Совершенно неожиданным для меня оказалось и то, что наша сверхважная и сверхсекретная стража не только имеет вполне нормальные, ничем не отличающиеся от общечеловеческих, взгляды на вопросы морали, но зачастую и не стесняется высказывать эти свои взгляды. В один из дней весь просторный коридор, куда выходили наши камеры, оказался заполнен разнообразной телевизионной аппаратурой. Тут были осветительные лампы с тянущимися от них длинными и толстыми шлангами, какие-то штативы на высоких тонких сочленяющихся ногах, другие приборы, о назначении которых я и не догадывалась, но с большим любопытством разглядывала все эти блестящие штучки по дороге на допрос. Когда же я увидела, что камера № 193, та самая знаменитая камера, в которой вождь мирового пролетариата писал молоком свои бессмертные труды для блага грядущих поколений, открыта, мое любопытство выиграло до последнего предела, и я заглянула в нее.

От наших камер эта, мемориальная, отличалась лишь гораздо более ярким светом — на окне не было "намордника" (должно быть, его не навесили из уважения к памяти ее великого обитателя), да еще роскошным толстым одеялом на аккуратно заправленной кровати. Я так загляделась на это великолепное красно-желтое одеяло, что едва не свалилась, оступившись на каком-то скользком толстом шланге. Конвойный, ринувшись вперед, подхватил меня за локоть.

— Осторожнее, смотрите под ноги!

— Что это тут у вас такое делается? — заворчала я. — То ли это тюрьма, то ли филиал Ленфильма. По коридору спокойно не пройдешь.

— Это у НАС что такое делается? — с неожиданной злостью от-

ветил прапорщик. — Лучше скажите, что это ВАШ Репин такое делает?! Кинозвезда новая, блин!

Я обернулась на него, не веря собственным ушам, но прапорщик уже с вполне безразличным видом махнул рукой:

— Идите вперед...

Однако неизмеримо большим сюрпризом для меня было услышать такую же оценку поведения Репина от самого Качкина. Ему в тот день просто приспичило вывести меня из состояния молчаливого спокойствия, с которым я высиживала все последние допросы. А я с тоской вспоминала свой "дом", как я теперь величала камеру, начатого Диккенса на английском и прелестную "Двенадцатую ночь". Все они ждут меня. Люда тоже ждет. А я торчу тут непонятно для чего и продолжаю бубнить: "Отказываюсь отвечать на вопрос".

Вдруг Качкин, усмехнувшись, сказал:

— Вот вы, Ирина Залмановна, так и не хотите давать показаний на Репина, а он рассказал нам не только все о вашей деятельности в Фонде, но еще и о тех претензиях, которые он к вам имел.

— Странно. Он не высказывал мне никаких претензий.

— Ну еще бы! Они были слишком серьезного свойства. Репин уверяет нас, что вы вели дела не вполне чисто.

— Что значит "не вполне чисто"?

— Ну, что у вас время от времени прилипали к рукам деньги.

У меня перехватило вдох, я в отчаянии смотрела на Качкина. Почему-то его слова не вызвали никакого сомнения. Репин в то время был уже настолько одиозной фигурой, что если бы кому-либо из его знакомых зачитали репинские показания о том, что этот самый знакомый насилует девочек по подвалам, то, пожалуй, ни у кого не возникло бы сомнений в подлинности репинской подписи под прото-

колом. Я лишь спросила Качкина:

- Как же Репин мог после обнаружения у меня каких-то недостатков вновь давать мне деньги?

- Он сказал, что ему ничего другого не оставалось. Работать-то в Фонде было некому.

Нужно что-то ответить. Но что? Это уже действительно не принципиальность, а просто глупость. Надо мной уже потешается все ИБ. Я ведь не буду давать показания ни о ком другом - только о Репине. О Господи, ну как он мог превратиться в такое дерьмо?!

Я вздохнула и подняла голову. Качкин мягко улыбнулся.

- Ну вот видите, Ирина Залмановна, вам все-таки стоит ответить на мои вопросы. Поверьте мне, в этом нет ничего страшного, и вы ничем не запятнаете себя.

То, что произошло потом, совершилось помимо моей воли - я готова поклясться в этом. Я почувствовала, что не могу сделать то, о чем просит меня Качкин, физически не могу, как не могу, к примеру, отрубить себе руку. Это был какой-то ступор.

- Я не могу давать показания, - вслух повторила я. - Это неважно, на Репина или на кого-то другого. Понимаете?

- Нет, не понимаю, - раздраженно сказал Качкин. - Он вылил и на вас, и на других столько грязи!

- Бог ему судья. Я знаю его очень хорошо, это был добрый и любящий людей человек. Но вы поломали его, и теперь он катится до самого конца, задержаться ему уже негде. Это так обычно и бывает.

- Ну вот опять: поломали, поломали! Вас вот мы почему-то не поломали.

- Разве можно нас сравнивать? У меня "потолок" по статье три года, а у Валеры - расстрел. Меня вы забрали из пустого дома, на двери печать осталась висеть, а у него дома - дочка новорож-

денная и жена.

- Значит, если бы вам грозило не 3 года, а, к примеру...

- К примеру семь плюс пять или пятнадцать? Я бы вела себя так же, как и сейчас, - можете не сомневаться. Но вот если "вышка" - не знаю, хотя, конечно, постаралась бы. А если бы у меня дома был маленький ребенок, я бы вообще не занималась ничем таким, за что можно попасть к вам.

- Ну-ну, хочется верить... - пробормотал Качкин. Он был явно растерян. Синяя птица удачи прошелестела так близко, что он ощутил шелковистость ее перьев.

- Все-таки жестокий вы человек, Ирина Залмановна, - покачал он головой.

- Жестокий? Почему вы так считаете?

- Ну вот, допустим, запишу я сейчас в протокол наш разговор. Вначале - то, что Репин говорил о вашей деятельности в Фонде, потом - мой вопрос вам о Репине, а дальше что? - опять ваше излюбленное "отказываюсь давать показания"?

- Да, конечно, - ответила я, все еще не понимая, к чему он клонит.

- Ну вот, а потом этот протокол будет читать Репин. Что же вы с ним делаете? Он-то прекрасно знает, что никакие деньги у вас не пропадали, да и мы знаем, что вы человек честный. Вы же его окончательно втоптываете в грязь собственным благородством. А ему сейчас и без того плохо, он страдает, раскаивается в том, что начал нам помогать. Неужели вам его не жаль? Вы же, кажется, христианка - где же ваше христианское милосердие?

Я была так потрясена блистательным поворотом качкинской мысли, что еще с минуту молчала, а когда наконец заговорила, то слова подбирались с трудом.

- Значит... вы полагаете, что если Репин сам, по своей воле... хотя и с некоторой вашей помощью, уселся в большую грязную лужу... то я из христианского милосердия должна усесться рядом с ним и тем попытаться облегчить его страдания? Да вы шутите, Владимир Александрович, что ли?!

- Ну вот видите, я и говорю, что вы жестокий и эгоистичный человек. Вы-то сохранили душевное равновесие, а то, что здесь, рядом с вами, страдает ваш друг, вас нисколько не волнует!

Я потихоньку хихикала в кулак и, наконец, не выдержав, разразилась смехом. Угроза падения миновала, я вновь чувствовала себя легко и свободно, как всегда, и изощренные Качкинские изыскания на темы морали рассмешили меня необыкновенно. Несчастный дурачок, как же ему пришлось поскрежетать извилинами, чтобы додуматься до такого! Мне стало жаль его, я даже ощутила к нему какую-то крошечную человеческую симпатию.

Качкин заварил чай, угостил меня "Каракумом". Я в ответ достала из больших квадратных карманов юбки леденцы и печенье и предложила ему конфетку - он отказался.

- Несчастный он человек, этот Репин, - говорил Качкин, прихлебывая горячий чай. - Первое время ходил тут с откинутой головой, разговаривать даже с нами не желал, слова сквозь зубы цедил. И ведь долго держался. А потом как пошло-поехало! Еле писать за ним поспевали, рука уставала. Об этом рассказать - пожалуйста. О том - пожалуйста. На видеомэгнитофон записаться - тоже можно. На телевидении сняться - это ж на всю страну пойдет - и на то согласился. Впрочем, что ж ему было отказываться? Кто сказал "а", скажет "о". Зато сейчас вон места себе найти не может, головой об стенку бьется: "Ах, да зачем я! Ах, если бы...!" - он соорил плаксивую мину.

- Послушайте, Владимир Александрович, ну как же вы мне об этом говорите. Ведь это же вы его раскололи, понимаете, вы! И вы же теперь его презираете так откровенно!

- Что же вы, Ирина Залмановна, видите в этом удивительного? Вы думаете, мы не люди? Я делаю свое дело, а уж как там будет себя вести подследственный - это ему самому решать.

Дверь открылась - в кабинет, видимо, привлеченный запахом чая, зашел Гордеев, один из репинских следователей. Качкин налил ему чая, наша беседа продолжилась, и я обнаружила, что все, произнесенное Качкиным, отнюдь не было лягушесом ополоумевшего от долгого допроса следователя. Откровенность Гордеева в оценке личности Репина еще превосходила качкинскую, он говорил о своем несчастном "подпечном" даже с некоторой брезгливостью, словно и каком-то неприличном предмете. Тем более меня удивило, когда он, без особой связи с предыдущим разговором, вдруг сказал:

- Ну, а сами-то вы, Ирина Залмановна, так по-прежнему и не отвечаете на вопросы Владимира Александровича?

- Разумеется.

- Объясните, пожалуйста, почему.

- Хотя бы для того, чтобы вы не отзывались обо мне так, как только что отзывались о Репине.

- Ну что ж, это очень лестно для меня, что вы так высоко цените наше мнение. Но ведь это не единственная причина?

- Вы знаете, я уже столько раз повторяла все остальные причины, что уже устала говорить одно и то же. Возьмите протокол, где я излагаю причины отказа от показаний, и прочитайте его.

- Я все-таки прошу вас повторить эти причины еще раз для меня.

Проклиная это нестерпимое занудство, я повторила. Гордеев скептически покачивал головой.

- И это все? Извините, Ирина Залмановна, но все это не очень убедительно. Я вот не понимаю, что вы подразумеваете под словами "морально-этические соображения".

- Ну, хотя бы то, - с отчаяния соврала я, не зная, как отвязаться от него, - что я дала честное слово моим друзьям.

- Какое честное слово?

- Еще за несколько месяцев до посадки и поклялась, что в случае ареста откажусь от дачи показаний.

- А, вот оно что! Так что же вы нам сразу об этом не сказали? Клятва - дело серьезное, ее нужно хранить. Я бы вот, например, ни за что не стал бы вынуждать вас нарушить данное слово.

- Я тоже, - вставил из-за его плеча Качкин.

- Это делает честь вам обоим.

- Вы просто молодец, что сдержали свое слово.

После этого трогательного обмена любезностями меня наконец-то отпустили "домой".

Когда я поднималась по лестнице, то вдруг почувствовала, что меня словно облило горячей водой. С чего я, собственно, взяла, что Валера дал обо мне такие показания?! Ни протокола, ни видеопленки они мне не показали, не говоря уж об очной ставке. А если даже и дал - ну и что с того? Почему отношения с ним нужно выяснять через ГБ? Правильно говорит одна моя подруга: есть люди нормальные, которые для сношений предпочитают традиционные места, и есть извращенцы, которые предпочитают использовать для этой цели органы КГБ. Каким чудом меня только что миновало сие?

Всю ночь и провела в недоумении относительно того, о чем же будет Качкин говорить со мной после сегодняшнего допроса. Любопытствовать мне пришлось недолго. Утром меня, заспанную, снова вызвали на допрос. Это было нечто невероятное, потому что наступила

суббота, а по выходным допросов никогда не было.

Качкин несколько торжественным тоном предложил мне сесть, откашлялся и объявил:

— Ну вот, Ирина Залмановна, мы и расстаемся с вами. Сегодня заканчивается следствие по вашему делу.

Я была так ошарашена, что еле пролетела:

— Как заканчивается?

— Вот так и заканчивается, — с некоторой досадой ответил он.

— Сегодня 20 февраля, 2 месяца следствия истекли. Прокурор продления не дает, вы показаний тоже не даете. Что мне с вами делать — кричать, бить вас?

Я с трудом пыталась разобраться в мельтешении закруживших мне голову мыслей. Это была и большая радость — испытание закончено, хотя и незначительное по затраченным мною усилиям, но все же испытание. И еще больше огорчение: значит, скоро мне уезжать отсюда, расставаться с книгами, Людой, с Питером, с тюрьмой — последним моего любимого города. И еще — изрядное злорадство: ни-че-го у вас, ребята, не получилось, ничегошеньки! Дело-то введённого яйца не стоит, а все-таки теперь вы не сможете махать ручкой на подследственного: "Да бросьте вы! У нас здесь все "колются".

— С чем же вы все-таки собираетесь в суд въезжать, Владимир Александрович? Советский суд — он, конечно, и есть советский суд, но все же и не "тройка" ОСО. Что вы им можете представить, кроме коллекции анекдотов и показаний Репина и Розенберга?

— Я думаю, этого будет достаточно. Суд ведь примет во внимание и вашу вторую судимость, и, главное, ваше поведение на следствии.

— Ну, если Вы считаете, что суду этого достаточно, то суд вряд

ли райойдется во мнении с вами, — усмехнулась я. — А кстати, когда он примерно состоится?

— Думаю, через месяц... я вижу, вам от нас уже и не хочется уезжать? Правда?

— Правда, — честно призналась я.

— Ну вот, а после освобождения начнете писать мемуары, и там накрутите всяких ужасов, и про тюрьму, и про следствие, как мы тут над вами издевались.

— Вы зря обо мне так думаете. Я напишу только правду, честное слово.

— О, ну если вы дали мне свое честное слово, я могу спать спокойно!

Вновь зашел Гордеев. Я уже заметила, что он появляется в особо ответственные моменты следствия. Было ли это проявлением начальственного недоверия к глуповатому Качкину, или гебисты действовали из тех же соображений, из каких у нас в стране собираются организовать конную милицию — "голова хорошо, а две лучше", — я не знаю. Гордеев сел рядом со мной и заговорил тихим, проникновенным голосом:

— Ну что же, Ирина Залмановна, вот вы и отмолчали все следствие. Добились вы своего, ну, а толку-то что? Знаете, я вчера просматривал ваше дело, и меня просто удручила глупость и бесполезность ваших действий. Вот вы все последние годы металась по городу, развивали кипучую деятельность. Листовки, еще раз листовки, журнал, другой журнал, — Гордеев аккуратно загибал пальцы, — фонд этот Фаш, "Радио Свобода", самиздат, какие-то англичане, голландцы, напоследок еще антисоветский семинар на квартире. Подумайте сами, Ира, чего вы хотели добиться этим и чего добились. Ничего, что я без отчества?

- Ничего.

И Подумайте, вы же умная женщина. Попробуйте оценить КПД вашей деятельности, и вы поймете, что он близок к нулю... хоть вам и понадобится немалое мужество, чтобы признаться себе в этом. Большую часть ваших листовок нам сдали сами граждане, которым они были, извините, до лампочки. Фонд разгромлен окончательно, передачи если кто и услышал, то тут же забыл, макулатуру всю эту вашу мы десятками килограммов сжигаем в печке вон там, во дворе. Я знаю, вы ненавидите существующий в нашей стране строй. Но вам же ни на йоту не удалось поколебать его! Единственным серьезным результатом ваших действий является огромный вред, который вы причинили самой себе. За годы этой вашей беготни и болтовни, - вы уж извините, что я так говорю, - вы могли бы уже заканчивать институт - вы ведь, кажется, хотели учиться в медицинском? Могли бы иметь работу, нормальную семью, жить полноценной жизнью. А что у вас получилось? Полный крах: муж сидит, у него плохое здоровье, а впереди еще и зона, и ссылка. У вас впереди три года в обществе уголовниц - это будут очень тяжелые для вас годы, вы привыкли к совсем другой компании. Потеряна прекрасная квартира в центре города - ей бы позавидовал любой ленинградец. Потерян для вас и сам Ленинград - после освобождения вы сможете прописаться в лучшем случае в Луге. Вот это все - реальные, а не мнимые результаты вашей деятельности. Честное слово, Ира, вот вы мне, наверное, не поверите, а мне действительно страшно жаль вас. Вам всего 23 года, а вы уже сожгли с двух концов всю свою молодость, самые лучшие годы, и положили несмываемое клеймо на всю дальнейшую жизнь. Нам здесь часто приходится сталкиваться с поломанными судьбами, но почему-то трагизм именно вашей судьбы поразил меня особенно, - Гордеев тяжело вздохнул, показывая, как глубоко тронула его моя горькая участь.

- Вы всерьез считаете мою судьбу трагической?

- Да, конечно.

- Вы ошибаетесь. Я думаю, что только сам человек в состоянии определить, насколько удачно сложилась его жизнь. А если следовать вашей логике, то получается, что самым несчастным человеком на свете я должна считать вас.

- Почему?

- Потому что если бы мне предстояло стать с завтрашнего дня следователем КГБ и не было бы никакой возможности отвертеться, я бы сегодня повесилась. А в своем теперешнем положении я вполне счастлива и свободна.

Качкин и Гордеев фыркнули одновременно.

- Да-да, вы напрасно улыбаетесь! Теперь, наверное, вам будет трудно поверить мне, но я говорю правду. Я считаю себя абсолютно свободной, потому что еще с 16 лет живу так, как мне хочется. И сейчас я тоже свободна, потому что поступаю так, как считаю нужным. Нельзя же трактовать свободу как возможность куда-то пойти или что-то этакое съесть. Я говорю о настоящей свободе, свободе выбора, свободе поступка. Понимаете? Мне, в отличие от большинства граждан этой злополучной страны; выпало крупное везение: во-первых, знать, чего я хочу, а во-вторых, реализовывать эти желания. Я не могла бы жить иначе, не знаю, почему, но не могла бы...

Что касается результатов моей деятельности, то я никогда не ставила себе цель спасти Отечество от коммунистического ига и вывести заблудший народ к каким-то следующим зияющим высотам. Человек я, как тут недавно правильно заметил Владимир Александрович, эгоистичный, поэтому единственной моей целью было спасти лично себя от барахтанья в той большой общей помойной яме, в кото-

рую мы все залезли. Это была для меня единственная возможность избавиться от соучастия во всем, что у нас творится. Вот я и действовала в меру своих сил и ума. Насколько удачно это у меня получилось — не знаю, но вот вы, хоть и говорите, что КИД моей деятельности равен нулю, но реально вы его оценили достаточно высоко. Я говорю о сроке. Честно признаться, я и сама считала, что не успею сделать ничего стоящего. А вот теперь я себя просто заважала, Женщин вы берете не так часто, раз уж взяли, значит, было за что. Вы же как-никак профессионалы, вам виднее!

Я говорила со всей возможной искренностью. Мне казалось очень важным убедить их в том, что я говорю правду. Они считают нас всех ущербными, закомплексованными, влезавшими в диссидентское движение исключительно из-за неудач на всех остальных поприщах. И они уверены, что любой из нас, попав к ним сюда, хотя бы в глубине души горько раскаивается. Мне нужно во что бы то ни стало доказать им, что я чувствую себя счастливой даже здесь, сейчас, и что их власть надо мной столь ничтожно мала.

И наступил момент, когда в лице Гордеева что-то дрогнуло, оно как-то чуть осунулось, побледнело, и я поняла: он поверил мне. Он поверил мне, и ему стало страшно! По спине у меня побежали мурашки восторга и вдохновения.

— Подумайте сами: я отсижу три года, всего-навсего три года — за семь лет замечательной свободной жизни! Я считаю себя крупно выигравшей от такого обмена. Если бы семь за семь — тоже нормально, мы были бы квиты. Вот 15 за 7 — это было бы уже лишним, но я бы, наверное, и на это согласилась. У меня нет другого выбора, я бы все равно не могла жить иначе.

Я с наслаждением смотрела на моих несчастных следователей. Они были бледны и потеряны настолько, что когда я наконец замол-

чала, в кабинете воцарилось молчание длиной в несколько минут. Они мне верят! Нечасто мне удавалось видеть их лица под намертво приросшей деловито-ироничной маской. Когда же они снова обрели голос, то оказалось, что говорить нам больше просто не о чем, и меня отправили в камеру, словно и вызывали лишь затем, чтобы услышать эту речь. Следствие было закончено.

В понедельник Качкин вызвал меня, говоря по-зековски, "на 201-ую статью", а именно для ознакомления с делом. Накануне я видела во сне, что мне из тюремной кухни принесли целый противень белейшего, блестящего как снег сахарного песка, а я этот сахар аккуратно разравниваю толстым слоем по противню. Люда, большая мастерица разгадывать сны, сразу сказала: "Скоро у тебя будет много сладких, радостных бумаг". "Ну, чего-чего, а бумаг мне завтра хватит, только боюсь я, что сладкого в них будет мало", — ответила я.

Итак, Качкин водрузил на мой столик два распухших, как утопленники, тома. Я сразу вспомнила традиционную шутку нашей компании: "Ну, как дела?" — "Да ничего, подшиваются".

То, что я прочитала в этих томах, намного превзошло самые безумные мои надежды. Я вдруг осознала, что дело мое, при всей его незатейливости, является в своем роде уникальным, и, пожалуй, не имеет аналогов в истории КГБ. Все допрошенные по делу свидетели, за исключением кадрового стукача Розенберга и Валеры Репина, сломленного еще задолго до моего ареста, отказались давать показания. Одни сообщали свои анкетные данные и замолкали уже после этого, Володя Сытинский отказался назвать даже свое имя и фамилию, так как его представления о морали не позволяли говорить о чем бы то ни было с палачами, преследующими людей за убеждения, прямыми наследниками опричников 37-го года. Так все и было записано в протоколе, и этого Комитет Володе не простил — через несколько меся-

цев он сам был арестован и отправлен в психушку. А вот Ира и Андрей Резниковы оказались, напротив, довольно пространны в своих показаниях. Я читала их, вся пунцовая, с выступившими слезами, и думала, что если бы не арест, мне бы никогда в жизни не удалось прочитать столько замечательных слов о себе. (Разумеется, вслед за характеристикой моей личности шел все тот же отказ от дачи других показаний). Руки у меня тряслись, я курила одну сигарету за другой, но успокоиться не могла.

Еще новость: оказывается, моя тетя Соня тоже была здесь. Я вскинула голову на Качкина:

- Для чего вы мою тетю вызывали? Неужели не понятно, что она ничего вам сказать не могла?!

- Вы читайте внимательно, - сердито сказал Качкин. - Никто ее не вызывал, она сама приходила.

Да, действительно, это так. Она пришла сюда; надеясь помочь мне, как-то их смягчить. Милая моя, наивная тетя Соня, сколько же ей пришлось пережить по дороге в Большой дом?! Это же настоящий подвиг - для нее, уже немолодой, большую часть жизни прожившей при "Хозяине". Чем она надеялась помочь мне? Но главная ее помощь оказалась в другом - что я сейчас читаю ее добрые, нежные (и как их удалось занести в протокол?) слова обо мне и благословляю Бога за то, как много он послал людей, так сильно любящих меня. Этот мощный поток любви исходил ко мне с казенных, прошнурованных страниц, я купалась в нем, я наслаждалась им. Тысячу раз права Люда: мне ни разу в жизни не приходилось читать таких радостных бумаг!

А вот какие-то совсем незнакомые фамилии. Разволновавшись от предыдущего чтения, я долго вглядывалась в протоколы, пытаюсь понять, о чем идет речь. Ах, вот оно что! Оказывается, в те 2 не-

дели, когда я в викином обществе изводилась, строя предположения о том, кого Качкин раскалывает сейчас, он, тоже изведенный моими друзьями, взялся с отчаянья допрашивать моих соседей по дому. В результате следствие обогатилось ценными материалами: рассказами о семейных сценах между моим отцом и бабушкой, а также сообщениями о часто приходящих ко мне в гости компаниях парней и девушек. Хотя эти молодые люди выглядели несколько странно (парни, например, были в основном с бородами), но вели они себя вполне прилично: не орали, не выставляли оружий на всю округу магнитофон на окно и, главное, все были трезвы.

Как это уже не раз со мной бывало, пережитое волнение нашло выход в смехе, тем более, что повод для этого был вполне подходящий.

— Что вы там нашли такого смешного? — раздраженно спросил Качкин.

— Ну вы и богатый материал насобирали, Владимир Александрович! — давась от хохота, проговорила я. — Бороды, залатанные джинсы... Зачем вам все это было нужно?! Вызвали бы меня, я бы вам хоть анекдоты порассказывала.

Качкин был мрачен, как инфаркт миокарда. Каждый новый взрыв моего веселья повергал его в еще большую тоску. Если бы кто-нибудь заглянул сейчас в кабинет, он был бы немало поражен, увидев подследственную, хохочущую над томами уголовного дела, в обществе хмурого молчаливого следователя.

Следующим шел протокол допроса Лени Рэпиной. Веселье мое улетучилось, я собралась с силами, готовясь прочесть все, что было угодно насочинять измученному неговорчивыми свидетелями Качкину. Открываю первую страницу, читаю и — строчки заскакали перед моими глазами! "Я очень жалею Иру Цуркову за то, что она по ллупости

влипла в это дело. Я боюсь причинить ей вред своими показаниями и поэтому отказываюсь отвечать на вопросы следствия". И это пишет Лена — беспрекословно выполнявшая к тому моменту любой приказ чекистов. Господи, да уж не сон ли это?! Неужели свойство моего дела таково, что оно способно приподнять даже это несчастное, скатившееся на дно существо?!

Покачнувшись на стуле, я рухнула лицом на раскрытый том дела и расхохоталась так, что Качкин, встревожившись, подошел ко мне со стаканом воды.

— Что с вами, Ирина Залмановна? Вам плохо?

— Нет... спасибо... мне хорошо. Очень хорошо! Можно мне выйти?

Вылетев из кабинета, я наткнулась на Егереву — он допрашивал меня об Аркашином деле и остался в моей памяти единственным кагебистом, имевшим какие-то живые человеческие черточки.

Он обрадовался мне, словно старому доброму другу.

— О, Ирина Залмановна! Здравствуйте! А я слышал, вы нас скоро покидаете, — сказал он вполне светским тоном. — Это правда?

— Правда.

— Даль, даль.

— Мне тоже жаль.

— Вам у нас понравилось?

— Очень!

— У вас такой радостный вид. Что-нибудь случилось?

— Да, я свое дело сейчас читаю. Это просто замечательно!

Сочтя это объяснение достаточным, я заторопилась в туалет, и там, нагнувшись к раковине, долго плескала себе в лицо ледяной водой, пила ее горстями, снова умывалась... Качкин терпеливо ждал меня в коридоре. Когда мы вернулись в кабинет, Качкин поставил

передо мной стакан воды и спросил:

- Ну что, истерик больше не будет?

- Это не истерика, Владимир Александрович. Вам просто никогда не доводилось здесь видеть по-настоящему счастливых людей. А я сейчас очень счастлива, ну, и веду себя, пожалуй, немножко несдержанно. Извините меня, пожалуйста.

- Да чему же вы так радуетесь, Ирина Залмановна, я никак в толк не возьму! Срок-то свой вы все равно получите.

- Ну что вы, в самом деле, одно и то же: срок, срок. Я никогда не сомневалась, что получу эти три года, раз вам так уж захотелось отдохнуть от меня. Но дело же не в них! Меня не интересовала юридическая сторона дела - это же сплошной бред. А вот с точки зрения все той же морально-этической дело прошью исключительно удачно, я и мечтать о таком не могла!

- Ну ладно, не будем тратить время. Знакомьтесь с делом дальше, а то мне уже скоро уходить.

Нет, положительно в тот день все добрые ангелы, опекающие богохранимый град Петров, оставили город без своей помощи и собрались среброкрылой толпой в этом холодном, прокуренном кабинете, чтобы обрадовать одну-единственную арестантку. Из их рукавов вылетали все новые сюрпризы. И следующим оказались ксерокопии протоколов допросов Валеры Репина. Он был арестован в декабре 81-го, и уже весной по городу поползли первые слухи о его "расколе". 19 мая завершилась запутанная интрига, затеянная его приятелем и Леной Репиной, - в результате ее Комитет оказался счастливым обладателем двух неподъемных ящиков: архива Фонда Солженицына. После этого разнеслась страшная весть - Валере переменили статью: 70-ю на 64-ю, а максимальное наказание по ней - расстрел. С этого

момента уже никто не сомневался в том, что Валера является послушным исполнителем воли Комитета. А он держался! Он еще держался, оказавшись не только в полной изоляции, но и в полном одиночестве: ни один человек в то время не смел назвать его своим другом. Он уже отвечал на вопросы следствия, но толку от таких ответов было немного, : одного не знад, другого не помнил, а о третьем просто отказывался говорить. И лишь в сентябре 82-го, совсем недавно, появились те, страшные протоколы: "деньги ЦРУ", "западные резиденты", "выполнение специальных заданий". Я листала страницы трясущимися руками, сигарета прыгала в ледяных пальцах, пепел летел во все стороны — я забывала его стряхивать. Чтение подходило к концу, я подумала, что запомнила слишком мало, и вернулась к началу второго тома. Но Качкину вовсе не хотелось просиживать со мной лишнее время, а я находилась в слишком **возвышенном** расположении духа, чтобы нутаться с ним. В кабинете объявился все тот же яйцеголовый прокурор Большаков, и в его присутствии я подписалась, что ознакомлена со своим уголовным делом.

Люда ждала меня, горя от нетерпения. Я свалилась на койку и расхохоталась.

— Ну, Люда, ты гений!

— Я знаю, — нетерпеливо ответила она. — А в чем дело?

— То, что я сейчас читала, это даже не сахар. Это чистая кристаллическая глюкоза!

Отныне все время принадлежало мне безраздельно. Наступила весна, первая моя тюремная весна. Мы выходили в прогулочный дворик в пальто внакидку и, застыв у бетонной стены, неторопливо, как гурманы, дегустировали воздух. Прежде я никогда и не подозревала, что воздух в начале Литейного проспекта так чист и ароматен. Мы улавливали запахи тающего снега, мокрой земли, но самым сильным был, конечно, запах Невы. Великая река одаривала нас ароматом про-

стора, водной свежести, водорослей — эта терпкая смесь казалась мне запахом свободы. До нас совершенно отчетливо доносился шум транспорта с Литейного проспекта, мы даже улавливали обостренным слухом, как троллейбусы тормозят на остановке недалеко от Большого дома и, шурша шинами, неторопливо трогаются с места. Мы не завидовали людям, пихающимся локтями в тех троллейбусах; если порой и думали о них, то скорее с некоторым презрением. Это было обыкновенное презрение зеков к "вольняшкам": мы-то вот живем здесь и радуемся жизни, а вот вы, кролики, смогли бы так?

Впрочем, прислушивались мы к звукам, доносящимся не только с далекого проспекта. Нашим соседом оказался еще один человек знаковый. По-видимому, ему было очень скучно сидеть в одиночке, и с некоторых пор он начал проявлять повышенный интерес ко мне. Он постоянно просил меня петь и пользовался дежурством каждого более или менее приличного прапорщика, чтобы узнать что-нибудь обо мне или самому снять стихи собственного производства. Посвящены они были столь же неожиданной, сколь и приятной встрече в крепости КГБ с чернокудрой незнакомкой в малиновом пальто. Как и когда ему удалось разглядеть мои кудри и пальто — для меня загадка и по сей день. Люда суетилась между нами с энергией свахи, надеющейся на богатое вознаграждение. Она так живо расписывала мне достоинства Лазаря — так звали моего тюремного жениха, что я сдалась и объявила себя его тюремной невестой. В тот же день я получила из-за бетонной стенки обещание огромного букета цветов ("Вы, Ира, какие больше любите?") и приглашение в ресторан после освобождения. Сейчас, когда я пишу эти строки, Лазарю все еще выдают баланду официанты в ватниках: комитетчики, обидевшись на строптивного Лазаря, вклеили ему 12 лет.

В таких мирных, пасторальных развлечениях, в чтении и ночных

чаепитиях пролетели три недели. Вызов к Качкину вогнал меня в тоску, он мог означать только одно: что суд — через несколько дней. Так оно и оказалось. Торжественно, при Большакове, Качкин вручил мне обвинительное заключение и объявил, что суд начнется 11 марта. "Это они специально организовали подарок к Аркашиному дню рождения", — подумала я. После всех официальных бумаг Качкин вдруг выложил на мой столик пачку писем — советских и иностранных.

— Вот, взгляните. Это ваша арестованная корреспонденция.

Я схватила письмо, на обратном адресе которого стояла фамилия Аркашиного приятеля, недавно вышедшего в ссылку, и принялась жадно читать. Но едва я пробежала глазами первые строчки, как Качкин с треском вырвал письмо из моих рук, так что листок едва не разорвался пополам. Я еще никогда не видела его в таком возмущении.

— Что это вы такое делаете, Ирина Залмановна?!

— Как что? Письмо читаю...

— Да вы продолжаете информацию для Фонда собирать! Даже сейчас, здесь! Какое кощунство — прямо при нас двоих! — наперебой закричали Качкин и Большаков.

— Послушайте, вы прочитали мои письма — дайте же их прочитать и мне. Я, кажется, тоже имею на это право.

— Ни в коем случае! — Качкин сгреб письма и швырнул их в ящик своего стола, тяжело дыша от негодования.

— Вы, по-моему, даже здесь продолжаете считать себя агентом вашего Фонда! — все еще не мог успокоиться прокурор Большаков. Их возмущение было столь искренним, что мне захотелось немного поразвлечься.

— А кто меня, собственно говоря, отстранял от этой должности? Я с себя таких обязанностей не снимала.

— Мы! Мы сняли с вас эти обязанности!

- Да что вы! Вы, по всей видимости, посчитали, что я выполняю свою работу плохо, поставляю на "Свободу" некачественную информацию. Вот и решили отправить меня в творческую командировку, чтобы я лучше знала, о чем пишу. Ведь так?

- Ну, уж мы позаботимся, чтобы в ближайшие годы у вас не было возможности общаться с Любарским и Давыдовым!

- Не к расстрелу же вы меня приговорите. Выйду - еще пообщаюсь.

Большаков, не вынеся моих козунств, удрал из кабинета. Качкину удирать было некуда, и он парировал удар.

- Сегодня я ездил на Главпочтамт, получал там вашу корреспонденцию. Там, между прочим, кроме писем было еще несколько посылок из-за границы. В одной, из Швеции, вам прислали сапоги. Такие роскошные: высокие, теплые, на натуральном меху. И пошлина была небольшая - всего 30 рублей.

- Ну и что вы с ними сделали?

- Отправили обратно в Швецию.

- Это вы зря. Заплатили бы 30 рублей, и забрали для вашей жены. Или у нее размер другой?

- Я таких вещей не делаю!

- Тогда вы поступили правильно. Эти посылки перешлют кому-нибудь другому, а мне в ближайшие 3 года все равно никакие сапоги, кроме кирзовых, не понадобятся. Ну, а за три года мода все равно переменится, и уж тогда мне привезут все, что угодно.

- Да уж, в этом я не сомневаюсь. Это вы только называете себя борцами за идею, а сами, а на самом-то деле... У вас же квартира битком забита западным барахлом!

- Ну и что из того? Это просто отлично, что на Западе есть люди, которых волнуют наши проблемы. Если бы не они, вы бы нас

давно живьем съели. И я благодарна им за всю эту помощь. Но неужели можно всерьез подумать, что когда я в '77-м разбрасывала листовки или печатала Солженицына, то рассчитывала получить за это какую-то плату?

- Тогда, может быть, и не думали...

- А теперь - тем более. Вот вы меня посадили - и для чего мне сейчас нужны все эти тряпки и продукты? Да если бы мне каждую неделю присылали по контейнеру платьев от Диора - я бы и ради них не согласилась рискнуть свободой. Вы думаете, я совсем ею не дорожила?

Качкин засмеялся:

- Ну, если судить по вашим действиям, то вы все последние годы прямо-таки рвались к нам. Сколько лет назад появились основания привлечь вас к ответственности? помните?

- Помню. Семь.

- Правильно. Вы тогда еще несовершеннолетней были. И сколько с тех пор мы с вами нянчились, уговаривали, предупреждали, а вам как будто и в самом деле свобода опротивела. Впрочем, да что сейчас говорить! Это уже не исправить. Вы теперь хотя бы скажите, что собираетесь делать на суде? Тоже отказываться от показаний?

- Да.

- Но это уже чистейшее безумие! Теперь вы сами видите, что мы прекрасно обошлись без них. Да захотите вы сейчас дать эти показания - они были бы уже никому не нужны! Понимаете? И суду эти показания тоже не нужны. Отвечая на вопросы суда, вы бы только произвели на него лучшее впечатление.

Я с такой злостью ткнула окурок "Астры" в пепельницу, что обожгла пальцы и, трясая рукой, закричала:

- Я что туда - сваваться еду, чтобы думать о производимом впечатлении?!

- О Господи! - тихо вздохнул Качкин и посмотрел на меня, как добрый доктор смотрит на больного, шмыгающего по палате за зелеными чертиками.

- Завтра вас вызовут к адвокату. Может быть, ему удастся уговорить вас, а я больше не могу.

В кабинет вошел конвойный. Я направилась к дверям, но Качкин остановил меня:

- Пойдите, Ирина. Вспомните: даже Галилей объявил свои взгляды еретическими, и от этого Земля не перестала вращаться.

- Я засмеялась:

- Знаете, мне больше нравится Джордано Бруно.

- Вот как? Ну что же, тогда я желаю вам счастливо погореть на вашем костре.

- Спасибо, - искренне поблагодарила я. - Я верю, что ваше пожелание принесет мне удачу.

Назавтра явился обещанный адвокат. Он представился Леонидом Георгиевичем Поповым - эту фамилию я уже не раз слышала, - передал мне привет от Иры Резниковой, и, разложив перед собой выписки из моего дела, быстро-быстро начал говорить. Передо мной во всех деталях разворачивалась схема защиты. Я слушала его в полном ошеломлении. Вся моя вина, накопленная в двух томах уголовного дела и прихлопнувшая тяжким грузом мою недутевую жизнь, рассеивалась, как дым от сожженной бумаги. Но вместе с этой виной безнадежно погибала я сама - веселый, живой и вполне довольный своей судьбой человек. На моем месте глазам изумленных зрителей и судей должно было представать какое-то жалкое маринованное существо, вся недолгая сознательная жизнь которого была цепью сплошных ошибок и недоразумений. Как на грех, это существо оказалось в 16 лет втянутым в дурную компанию и, будучи по природе глупым и беспомощным, стало

игрушкой в чужих руках. Единственным дозволенным ему человеческим чувством была обида — обида на органы, посадившие ее мужа. Только ею и можно объяснить, что существо собирало и передавало куда не надо информацию о политзеках, а не курочило на вокзалах чужие сумки. Разумеется, оказавшись на скамье подсудимых, оно обильно лило слезы и сопли, раскаиваясь в своей жизни (да и как было не раскаяться!) и просило о милости.

Все это Попов излагал в хорошем темпе, изредка поглядывая на часы и не давая мне издать ни единого звука. Уже в который раз я набирала побольше воздуха, собираясь прервать его, но это мне не удавалось. Наконец, он встал и со словами: "Ну вот мы с вами обо всем и договорились", — стал быстро собирать бумаги в папку.

— Да мы же ни о чем не договорились! — в отчаянии воскликнула я.

— Как не договорились? Разве вы что-нибудь не поняли?

— Я все поняла. Но я же не могу это сказать!

Попов опустился обратно на стул и потер лоб рукой.

— Так я и думал. Ирина Резникова немного рассказала мне о вас. Ну что же, давайте попробуем разобраться, с чем вы не согласны. Только, пожалуйста, учтите: я — адвокат, и моя обязанность — защищать вас. Вы же, как я вижу, даете больше материала прокурору.

Планы Попова на сегодняшний день рухнули: разговор был долгим и тягостным. Мне было очень неудобно отказываться от каждого предложения такого маститого адвоката, пришедшего сюда специально, чтобы помочь мне. Но и соглашаться с ним было просто никак невозможно. Этот разговор вымотал меня больше, чем все допросы вместе ~~взяты~~ взяты; я уже жалела, что не отказалась от защиты с самого начала. Напоследок Попов попросил:

— Ирина, если вам не очень трудно, хотя бы скажите в последнем слове, что вы ожидаете от суда законного и справедливого решения. Поверьте, эта фраза может поднять ваши шансы.

В камеру я вернулась вся взмокшая и измученная, и лишь немного отдохнув, принялась готовиться к завтрашнему дню. О том, что буду говорить завтра, я даже не думала, положившись на Бога. Он не оставлял меня своим попечением, не оставит и завтра, в нужный момент нужные слова придут сами. Ход судебного следствия волновал меня гораздо меньше прыщика, некстати вылезшего на лбу. Единственное, что было важно по-настоящему, — это то, удастся ли мне увидеть хоть кого-нибудь из друзей. Одна мысль о том, что завтра, может быть, я смогу встретиться с ними, волновала меня невероятно. Но гораздо вероятнее было другое: что завтра меня ждет зал, набитый изнемогающими от скуки суками, и коридоры, очищенные теми же суками задолго до моего появления. Именно так обстояло дело в Аркашином суде — тогда 6 гебистов изрядно помяли меня, увлакивая с лестницы, по которой должны были его провести.

Собственно говоря, главная подготовка к суду началась еще пару недель назад: я принялась худеть. Делалось это вовсе не для того, чтобы продемонстрировать в суде свой изможденный вид. Причина была смешнее: накануне я обнаружила, что не могу не только застегнуть, но даже натянуть на положенное место принесенные в передаче мои собственные брки. Худеть было очень тяжело, я едва не со стоном выбрасывала кашу в унитаз, представляя, каково мне будет вспоминать это варварство спустя пару месяцев на зоне. Но как бы то ни было, а в брки, хотя и чуть расширенные, влезть мне удалось.

Итак, в вечер перед судом наша камера превратилась в косметический салон. Я вымыла волосы и все тело холодной водой и, распарив лицо над чайником кипятка, села поближе к лампочке. Люда принялась за наведение марафета на мое изрядно подурневшее в тюрьме

лицо со свойственной ей энергией и изобретательностью. Она мазала его какой-то невероятной смесью из зубного порошка, сахара и размоченного хлеба, смывала эту маску и протираала лицо лимонной корочкой. Желая оценить результат ее трудов, я несколько раз запрыгивала на табуретку у окна и пыталась рассмотреть свое отражение в открытой форточке. Но смена попалась плохая, после двух предупреждений я услышала угрозу лишения отоварки и прекратила свои поползновения.

Всю ночь я видела веселые яркие сны — какие-то букеты цветов, ослепительные солнечные блики на волнах Невы — а наутро проснулась с таким же чувством, с каким в детстве просыпалась в день рождения. Это было волшебное, полужабытое ощущение: еще не проснувшись, чему-то очень обрадоваться — то ли ожидаемым подаркам, то ли только что рассеявшемуся чудесному сну.

Первым подарком, выпавшим мне в тот день, была погода. В тюремном дворе, наглухо закупоренном громадными стенами, пахло, словно на берегу моря в ясный ветреный день. С крыши в бешеной спешке летела капель, сверкая и звеня, словно тысяча маленьких оркестров. Ослепительное солнце выкатилось на небосклон с явным намерением раскрасить для меня мир в небывало яркие краски.

Я носилась по дворику с таким чувством, будто мне прямо в вены влили полбутылки шампанского. Лазарь, забыв про все предосторожности, переговаривался со мной в полный голос и орал веселые еврейские песенки, я подпевала, а прапорщик на "карусели" молчал, словно такой концерт был самым обиженным делом. Люда почему-то ужасно переживала, она стояла в уголке, похожая на утопленницу, долго пролежавшую в воде. Я уговаривала ее не волноваться, просто потому, что волноваться не из-за чего: ни больше, ни меньше трех мне все равно не дадут. Люда согласно кивала головой, но бледнела

и синела еще больше.

Наконец за мной пришли — целой толпой, и вид у прапоров был такой патетический, словно в конце нашего пути стоял не банальный темно-серый воронка, а выщербленная стена и полукаре автоматчиков. Люда, не скрываясь, несколько раз перекрестила меня, Лазарь пожалел мужества и удачи и запел "Ерушалаим". Сопровождаемая этими напутствиями, я тронулась во главе своей многочисленной свиты.

Вся эта торжественность немало забавляла меня, я с усилием сдерживала смех, понимая, что он будет сейчас, мягко говоря, неуместен. Нет, что ни говори, а избаловался наш народ. Давно ли прямо здесь "пятнашки" отвешивали, как мыло по карточкам, — распишитесь в получении. А тут какую-то несчастную "трешку" вручить — и столько помпы! Поневоле захочется встать в позицию и закричать что-нибудь этакое — что там полагается кричать, когда ставят к стенке? "И да здравствует частная собственность!" — он под дулом винтовки кричал". Вот это, пожалуй, подойдет...

В воронке меня засунули в узенький железный пенал, и машина тронулась. И вдруг — сквозь жуткое дребезжание ее внутренностей я услышала совсем рядом тихий голос:

— Ира, здравствуй.

— Это ты, Валера?!

— Да. Я хочу спросить тебя: ты сможешь меня простить?

Я немного подумала.

— За то, что сделал мне, — да. А за других — не знаю.

— Я знаю, меня сейчас все там ненавидят.

— Я тоже ненавидела, пока не попала сюда.

— А потом?

— Потом я поняла тебя и простила.

— Но ты ведешь себя иначе.

— Не надо сравнивать нас. Мне намного легче.

- Ты была бы сейчас на свободе, если бы не я.

- Ну что ты, Валера, - засмеялась я. - Они же твердо решили от меня избавиться. Не нашлось бы тех писулек в архиве - сделали бы еще что-нибудь похуже, подкинули наркотики, например. Но я ни о чем не жалею. Я нормально здесь себя чувствую.

За стенкой послышался смех.

- Об этом я знаю.

- Откуда?

- Твой хохот и песни слышно на всю тюрьму. Мы с мужиками каждый раз поражаемся.

Мы немного помолчали, я безуспешно пыталась разглядеть места, где проезжает воронок, в узкую щель. Потом собралась с духом и спросила:

- Скажи, Валера, ты говорил им, что у меня были какие-то недостатки?

- Что, что?

- Ну, что будто я воровала фондовские деньги.

- Они тебе это говорили?!

- Да.

Из-за стенки донесся звук, похожий на стон.

- Ира, это неправда! Честное слово, я этого не говорил! Хотя, конечно, после всего, что я сделал, ты можешь мне не поверить...

- Я верю тебе. А еще они говорили, что ты просишь свидание со мной, чтобы уговорить меня давать показания.

- Как я мог это говорить! Я был так счастлив, что хоть ты держишься, и тебе не придется пережить то, что пережил я.

Машина остановилась, послышалось лязганье дверей. Как жаль, что от Большого дома до горсуда всего 10 минут езды!

Конвойные солдаты ввели меня в большое помещение, две стены

которого составлял сплошной ряд невысоких дверей, тесно прижатых друг к другу. Гул стоял, как в улье: звукоизоляции здесь не было никакой, и заключенные переговаривались, кто с кем хотел. Одну из дверей отперли, и я очутилась в маленькой камере без окна, казавшейся еще теснее из-за низкого сводчатого потолка. Три женщины, сидевшие на узеньких деревянных скамьях, с любопытством уставились на меня, а я, с еще большим любопытством, — на них. Хотя это были те самые уголовницы из "Крестов", которыми так усердно пугал меня Качкин, в них не было решительно ничего страшного или хотя бы отталкивающего. Обыкновенные лица, пожалуй, даже симпатичные.

— Откуда вы, девушка?

— Из Большого дома.

— Так вы, выходит, политическая?

— Да.

Гул голосов в двух соседних, мужских камерах стих, как по команде. Кто-то попытался продолжать начатый разговор, но на него зашикали:

— Тихо ты! Замолкни! Тут девушку из Большого дома привезли!...

— Скажите, а это правда, что вас там держат в подвалах, глубоко под землей? — спросила одна из женщин. Голос ее подрагивал, должно быть, от осознания сопричастности к великой государственной тайне.

— Нет, неправда. Я сижу на 4-м этаже.

— Вас на допросах пытали?

— Нет, что вы! С нами обращаются очень культурно, я грубого слова не слышала.

— А кормят как?

— О, кормят отлично. Картошку дают с котлетой, макароны по-флотски, иногда даже печенку жареную.

Мнения потрясенных слушателей разделились.

- Все верно, - пробурчал голос в соседней камере. - Они политические, их положено так кормить. Это же не мы, бомжи привокзальные.

- Да что вы пристали к ней! - раздался хриплый стариковский голос где-то справа. - Это же секрет большой, как их там содержат. Скажет она вам правду, ждите! Если скажет - ей сегодня же ночью в том подвале пулю в затылок пустят. Мне вот следователь, сука, все почки сапогами поотшибал, так это за какого-то козла порезанного. А тут - за политику! Вы, девки, ей на руки посмотрите, я слышал, они там пальцы в дверь заземляют.

Шесть глаз уставились на мои руки. Приказывать их было глупо, но прятать - еще глупее. Я показала. Ногти на указательном пальце и мизинце наполовину слезли после панариция и имели в самом деле жутковатый вид.

- О Господи, Боже мой! - закричала одна соседка.

- Что это у вас? - с дрожью в голосе спросила другая.

- Это... нарывы были... под ногтями, - пролепетала я, теряясь от нелепости ситуации.

Трудно было представить тишину, опустившуюся на битком набитый человеческий муравейник.

- Вот так. Всем все ясно? - рискнул, наконец, нарушить молчание кто-то в дальней камере.

- Да что же это - бьют, да еще и плакать не дают! - отозвался кто-то поближе.

- А можете рассказать, за что вас посадили? - раздался красивый бас в соседней камере. - Или вам не разрешают об этом говорить?

- Конечно, можно. Села я за ~~женщи~~ антисоветскую литературу, за то, что помогала семьям заключенных и еще за то, что передавала ин-

формацию о зонах на разные "голоса".

(Упомянуть об анекдотах я даже не рискнула — надоело выглядеть лгуной в глазах многочисленных невидимых слушателей).

Камеры взорвались яростными матюгами в адрес коммунистов вообще и чекистов в частности.

— А про какие зоны вы туда передавали? — спросил кто-то.

— Ну, например, про Яблоневку.

— Яблоневка?! Я ж там по первой ходке был. Ну и сучья зона! Так ты им, сестренка, выходит, понавставляла перьев в жопу?!

Выходит, понавставляла.

Ответом был не менее бурный всеобщий восторг. Казалось, будто все эти люди, привезенные сюда, как и я, на суд, и ожидающие собственных приговоров, позабыли о своих делах и интересовались исключительно моим. Три соседки наперебой угощали меня печеньем и сигаретами, и хотя я была вовсе не голодна, приходилось брать, чтобы не обидеть их. Одна женщина достала из сумочки (им разрешалось иметь сумки!) маленькое зеркальце.

— У вас там есть зеркала? — изумилась я.

— А у вас разве нет? — изумилась в ответ она. Как же вы краситесь?

— Да чем краситься-то?! У нас же нет никакой косметики.

— Какой ужас! — В одно мгновение передо мной оказался целый набор косметики: тушь для ресниц, тени, пудра и губная помада трех цветов. Я начала было краситься, одновременно отвечая на вопросы, сыпавшиеся со всех сторон. Но руки у меня дрожали — то ли с непривычки, то ли от волнения, — я сразу захватила щеточкой с тушью в глаз и заревела в три ручья. Сокамерницы взялись помочь мне. Я чувствовала на своих щеках и лбу прикосновения теплых, мягких рук и вновь думала: ну за что мне такое счастье? Словно Господня ла-

донь несет меня, и все опасности и козни с легким треском рушатся у моих ног. Четыре года пугали арестом — а теперь я счастлива, что в моей жизни была тюрьма, и ни за что не хотела бы лишиться этого опыта. Беспреданно пугают встречей с уголовниками — и вот она, эта встреча! Чужие и чуждые, никогда меня не видевшие и не видящие даже сейчас люди любят меня и называют своей сестренкой. Но самое главное: все это не стоит мне никаких усилий — это чистый Божий промысел.

Едва соседки успели последний раз мазнуть мои веки серебряными тенями, как загромыхали двери. Натужно вчитываясь в бумаги, конвойный назвал мою фамилию.

У входа в коридор на стене висело большое зеркало, и я, увидев свое отражение, застыла на месте. Не знаю, были ли тому причиной косметические ухищрения Люды и сегодняшних сокамерниц, или мое душевное состояние, но из большого зеркала на меня глянула красавица, какой я никогда в жизни, в общем-то, не была. Никогда мое лицо не было таким матово-бледным, глаза — такими огромными, а волосы — такими густыми и блестящими. Я подумала, что мы с шестью конвоирами являем собой изумительное зрелище. Мне доводилось видеть, как смешно и печально выглядят шестеро дѣжих вооруженных солдат, конвоирующих одну миниатюрную женщину. Но ручаюсь, наша группа выглядела еще смешнее. В большом зеркале поочередно отразились: трое обритых почти наголо тщедушных солдатиков в неуклюжей мешковатой форме, высокая девушка с пышными волосами и еще более пышными формами, за ней — еще трое солдатиков. Все это воинство едва доходило мне до уха. Ну хоть бы кому-нибудь из моих друзей удалось прорваться хотя бы в коридор и полюбоваться, как мы выглядим...

То, что я увидела в коридоре четвертого этажа, на миг ослепило меня и схватило горло спазмой. Едва вынырнув с узенькой темной

лестницы, мы оказались в живом человеческом море. Длинный, просторный коридор был заполнен людьми от начала до самого конца, стояли все вперемежку, плотно, плечом к плечу: мои друзья и штатные посетители всех политических судов. Внутри широкого каменного коридора образовался еще один, узенький, живой, и по этому коридору, с трудом расчищая дорогу, двинулась наша процессия. Со всех сторон нас окружали взволнованные, радостные лица моих друзей и безучастные лица кагебистов.

Я улыбалась в ответ, ловила протянутые руки и в бесконечном счастье твердила: "Здравствуйте, здравствуйте! У меня все хорошо, я здорова, я так рада вас видеть! Наташа, Света, Юра, здравствуйте! Я рада, я очень рада!"

Мы вошли в большой пустой зал и я застыла от волнения: до самого горизонта за огромным окном лежали блестящие, мокрые крыши старого города. Солнце старалось изо всех сил. На краях водосточных желобов истекали последние сосульки, над крышами вздымался легкий белый пар. И все ряды разноцветных крыш осеняла ослепительная золотая голова Исаакия, сверкающего, словно кусок солнца, сорвавшегося в середину огромного города. Этот золотой купол был наваждением половины моих тюремных снов, я уж и не чаяла увидеть его наяву. И вот — такой подарок!

В дверях зала вдруг возникла суматоха, мне было хорошо видно, как гебисты закрывают дверь своими телами, словно амбразуру, и пропускают только своих. Но их вдавили в глубь зала мощным натиском, и в зал хлынули помятые, растерзанные в короткой схватке мои друзья. Я снова здоровалась с ними, жадно вглядывалась в их лица. Как они все изменились! Словно прожили лет 5 за эти три месяца. Я хорошо знала, как это все бывает после ареста: сначала шок, невозможность поверить, бесконечные телефонные звонки. Примерно через сут-

ки стресс выплескивается в судорожном, безумном веселье. Гости, собравшиеся в квартире, из которой только что увели их друга, вдруг принимаются бешено хохотать, вспоминая обыск и гебистов, громыхающих тазами на антресолях и сосредоточенно рыщущих в сливном бачке и мусорном ведре. Смеются до слез, захлебываются крепким чаем и дымом сигарет, но вот — то один, то другой резко смолкает и смотрит перед собой пустыми глазами. А потом — жизнь постепенно налаживается, но это уже другая жизнь. Кого-то вызывают на допросы, кто-то постоянно таскает с собой запас курева, зубную щетку и пару толстых шерстяных носок.

Большой зал заполнился в мгновение ока, дверь захлопнули, и в нее немедленно забарабанили снаружи. Я оглядела зал — опять все оказались впережку, и невозможно даже понять, кого здесь больше. Сотня глаз была устремлена на меня, я чувствовала себя актрисой, исполняющей главную роль, и очень боялась сделать что-нибудь не то. Но пока все шло отлично, лучше, чем я ожидала.

Наконец, все необходимые персоны собрались, и судебный процесс начался. Был он невыносимо зануден, я отключилась уже после первых слов обвинительного заключения. Время от времени меня просили подтвердить анкетные данные, я вскакивала со скамьи, словно прилежная школьница, и садилась с неохотой. Дни стоя я могла видеть крыши домов и купол Исаакиевского собора. После анкетных данных судья Волженкина стала допрашивать меня о моих преступлениях. Я отказалась признать себя виновной, отказалась отвечать на вопросы, но вопросы все равно задавались. Едва не вывихивая челюсти от сдерживаемой зевоты, я с трудом досидела до перерыва. Ко мне подошел Леонид Георгиевич и спросил, помню ли я, о чем договаривались мы вчера. Настроение у меня сразу упало: вчера Попов, узнав, что я и в суде собираюсь отказаться от показаний, уговаривал меня ответить

хотя бы на один вопрос: о том, когда я передавала Валерию Репину тетради с записями анекдотов. Дело было в том, что эти тетради я отдала ему в ноябре 79-го года, то есть в то самое время, когда отбывала первый, с позволения сказать срок: за отказ дать на Аркану показания в суде — 3 месяца исправительных работ. Попов просил меня сказать, что эти злополучные тетради я отдала Валере позднее, например, в марте. Я тоскливо вздыхала, мялась — очень противно было принимать какое-то участие в этом дурацком фарсе, — но все же согласилась.

Все те же солдатски-недомерки отвели меня вниз, и, проходя мимо камеры, где сидел Валера, я громко сказала ему: "Валера, говори, что тетради я дала тебе в марте. Понял?" Из камеры донеслось: "Понял", — и еще что-то, но что — я не расслышала, конвойные протолкнули меня вперед.

Женская камера была пуста, да и в соседних мужских гул голосов заметно поутих. Какой-то мужчина с горькой насмешкой рассказывал, что ему только что прокурор потребовал 6 лет — за дачу взятки в размере 29 рублей. Ровно столько стоил топор, который этот злостный преступник подарил на день рождения своей начальнице. Дослушать его историю я, к сожалению, не смогла — меня снова вызвали.

Вновь все повторилось — толпа, улыбки, восклицания, свалка в дверях. Попов, подойдя к барьерчику, тоскливо посмотрел на меня и сказал: "Помните, вы обещали".

Обещание я выполнила и пожалала об этом сразу, уловив несколько недоумевающих взглядов из зала. Но главный позор был впереди. В зал ввели Валерия и усадили на скамью по другую сторону длинного судейского стола. Все взгляды переместились на него, по рядам пронесся шум. Я уже настолько вошла в образ главного действующего лица этого спектакля, что испытала легкую ревность.

Он отвечал на вопросы судьи и прокурора тихо, коротко, спокойно, как автомат, и его неживой голос казался мне чужим.

- Свидетель, скажите суду, когда Цуркова передала вам тетради с записями анекдотов-пасквилей.

- В ноябре 1981 года.

Я почувствовала, как мое лицо багровеет и покрывается каплями горячего пота.

- Вы помните это точно?

- Да. Но об этом я просил ее сам.

- Подсудимая, вы слышали показания свидетеля?

Я встала, хотя гораздо больше мне хотелось спрятаться за барьерчик с головой.

- Что вы можете сказать?

- Ничего, - прошептала я, плюхаясь на место.

Настроение было испорчено, казалось бы, безнадежно. Тюремный комплекс гипертрофированной вины прихлопнул меня всей тяжестью. Я боялась взглянуть в зал, но когда все же отважилась это сделать, то оказалось, что глаза моих друзей по-прежнему устремлены на меня с любовью и беспокойством, и у меня немного отлегло от сердца.

Судебное заседание закончилось. Секретарша торжественно провозгласила следующий день суда - 15 марта. Ну точно - подарок Аркаше к дню рождения!

Едва воронок, задремывая, тронулся по ухабам мостовых, Валера постучал в стенку "пенала".

- Ирочка, прочти меня, пожалуйста, я не мог сделать то, о чем ты просила. Я ведь уже дал показания о том, когда брал у тебя эти тетради. Сейчас было бы глупо менять их.

- Почему же ты не сказал мне об этом сразу, пока мы были в камерах?

- Я говорил тебе! Я говорил, но ты, наверное, уже не слышала

меня.

— Да, я сама виновата, зачем было устраивать эту глупость!

— Да брось ты, Ирочка, это же пустяки. Ты выглядела просто отлично, я восхищался тобой.

Несколько минут мы молчали, трясаясь в грохочущих железных коробках, — говорить, перекрикивая лязганье и ежесекундно рискуя прикусить язык, было не очень просто. Вот мы уже приближались к нашему родному дому.

— Ира, я хочу сказать еще кое-что. Я тебе, конечно, уже не начальник, да и Фонда не существует, но все-таки как бывший шеф я отдаю тебе последний приказ. — Валера изо всех сил старался, чтобы это звучало иронично, но ирония не очень получалась.

— Какой приказ?

— Спокойно отсидеть срок. Я знаю тебя и представляю, что у тебя начнется на зоне: ШИЗО, голодовка, ИКТ, отказ от работы. Пожалуйста, не надо этого ничего делать. Я тебе приказываю.

— Хорошо, я постараюсь.

— Сделай так, Я тебя очень прошу.

Воронка въехал в тюремный двор, солдаты передали нас комитетским прапорщикам. Мы шли по коридору вместе, рядом, я шалела от чувства недозволенности, ни ни один из прапорщиков не сказал нам ни слова, словно это самое обычное дело — когда по тюремным коридорам заключенные разгуливают парочками.

Когда наступил момент прощаться, Валера осторожно тронул мою руку и тихо спросил: "Можно?" Я кивнула головой, он трижды поцеловал меня. Только теперь я увидела, что это как будто уже другой человек, постаревший и уставший до изнеможения. Он сделал несколько шагов по коридору, вдруг остановился, обернулся, и я увидела на его лице такое отчаяние, что не выдержала, подбежала к нему и сама по-

целовала его, повторяя: "Все нормально, успокойся. Я не обижаюсь на тебя". Два прапорщика стояли в стороне, отвернувшись к стенке.

Маша встретила меня долгим внимательным взглядом и вопросом:

- Как вы себя чувствуете, Ирина Залмановна? Наверное, очень устали?

- Нет, ничуть, я чувствую себя превосходно!

- Действительно, вы выглядите очень хорошо. Вы просто красавица сегодня... Да вы, кажется, накрашились?

- Немножко, - я отчего-то застеснялась, как школьница.

- Вот что значит побывать в дурной компании! У вас такое интеллигентное лицо, к чему вам тени и румяна? - отчитывала меня Маша.

- Между прочим, там, в "Крестах", разрешается иметь какую угодно косметику, - лягнула я и увидела, что Маша заливается краской негодования.

- Ты вы хотите сказать, что в "Крестах" лучше? Вы хотели бы жить там? - с горькой обидой спросила она.

- Нет-нет, что вы! - в ужасе воскликнула я. Мне здесь нравится, черт с ней, с косметикой, разве это важно!

Мой искривленный патриотизм утешил Машу и она, закончив беглый обход, отпустила меня. Я взлетела на четвертый этаж, не чуя собственного веса. Люда лежала, распластавшись на койке, лицо ее было серым и безжизненным, глаза закрыты.

- Сколько? беззвучно спросила она при моем появлении, не открывая глаз.

- Да несколько. Что с тобой?!

- Дали тебе сколько? - сморщившись, переспросила она.

- Суд продолжится 15-го. А с тобой что такое?

Люда призналась, что она не сомкнула глаз всю ночь, переживая за меня. А когда меня увезли, у нее начался приступ, каких еще

никогда не было. К моменту моего прихода она уже едва не теряла сознание. Все это поразило меня тем более, что сама я отлично выспалась в эту ночь и ощущала себя сейчас способной обрушить стены тюрьмы, упершись в сводчатый потолок камеры.

— Садись, сейчас все сделаю, — сказала я, но едва мои руки приблизились к лодиночной голове, она с испугом обернулась.

— Ира, что ты делаешь? Мне больно, от твоих рук бьет током.

— По-моему, ко мне сейчас можно подключить небольшую электростанцию.

— Рассказывай, что там было.

— Тебе лучше?

— Да.

Я начала рассказывать, захлебываясь словами и табачным дымом, но в эту минуту раздался истошный крик:

— Ира! Говори, сколько дали!

Этот вопль несся, казалось, одновременно отовсюду и заполнял собой всю камеру. Люда махнула рукой:

— Иди, отвечай скорей. Лазарь уже четвертый раз кричит; удивительно, что его еще в карцер не спустили.

Приставив к стене кружку, я прокричала в нее ответ. Кормушка открылась, и я застыла с кружкой в руке, уличенная в тягчайшем нарушении режима. Но — о очередное чудо сегодняшнего дня! — голос Миши из кормушки приветливо спросил, подогреть ли мне обед сейчас или я желаю сначала принять душ.

Потрясенная таким великодушием, я торопливо забормотала, что не надо ничего греть, я пообедаю и так. Но Миша — тот самый Миша, который пару дней назад выговаривал нам за громкий смех в прогулочном дворике, — широко улыбнулся в кормушку:

— Ну зачем же есть холодное? Сейчас ваша любимая картошка по-флотски, я оставил для вас самое вкусное — сплошное мясо с подлив-

кой. Сейчас спущушь в кухню, подогрею, а вы пока сходите в душ. А вот этого, — Миша кивнул на кружку, которую я по-прежнему держала в руках, — больше не надо.

Три дня пролетели как один, подгоняемые моим нетерпением.

Наступило долгожданное 15-е, я вновь тряслась в гремящем воронке — на этот раз в полном одиночестве — и думала все о том же: удастся ли опять моим друзьям прорваться в зал. Тюремные камеры горсуда встретили меня бурными приветствиями. Из прошлых моих соседей сегодня был только один — обладатель красивого баса, но, тем не менее, истрия моя была известна уже всем: "крестовский" беспроводный телеграф работал превосходно. В камере я была одна — моих соседок увели на суд. Как и в прошлый раз, завязался общий беспорядочный разговор многочисленных невидимых собеседников. Кто-то крыл чекистов виртуозным матом, кто-то сквозь шум и гам рассказывал мне историю своего несправедливого осуждения в трогательной надежде, что завтра же она прозвучит на Радио Свобода.

— Ирина, вам нужно что-нибудь? — спросил красивый бас в соседней камере.

— Сигареты, если можно, — попросила я, не представляя, как он сумеет мне ее передать.

— Эй ты, начальник! — мой сосед забарабанил в дверь. — Открой дверь, передай девушке сигареты.

— Не могу, ключи у начальника караула.

— Да я сейчас тебя, козла, в рот... в нос... так, сяк... и этак!

Я слышала такие завороты впервые в жизни. Они перекрывались адским проклятием — обитатели соседних камер что есть силы дунили в железные двери. Через минуту моя дверь распахнулась, и сквозь решетку второй двери розовоухий смущенный солдат передал мне целую пачку

"Мальборо" с коробком спичек впридачу - царский дар обладателя ир-интеллигентного баса и богатейшего лексикона.

Мои опасения оказаться в одиночестве в зале суда не сбылись и в этот день. Свалка в дверях закончилась с явным преимуществом моих друзей.